



ВЕСТНИК

МГИМО-УНИВЕРСИТЕТА

MGIMO Review of International
Relations

• 14(4) • 2021

Журнал индексируется в следующих
системах и каталогах: Web of Science, РИНЦ,
Google scholar, список ВАК, ERIH PLUS, EBSCO.

Вестник МГИМО-Университета

Научный рецензируемый журнал

<http://www.vestnik.mgimo.ru/>

Редакционная коллегия:

Торкунов А.В. – академик РАН, ректор МГИМО МИД России. Главный редактор (Россия).

Байков А.А. – кандидат политических наук, доцент, проректор по научной работе МГИМО МИД России. Заместитель главного редактора (Россия).

Харкевич М.В. – кандидат политических наук, доцент кафедры мировых политических процессов МГИМО МИД России, заместитель начальника Управления научной политики МГИМО МИД России. Шеф-редактор (Россия).

Артизов А.Н. – доктор исторических наук, руководитель Федерального архивного агентства Российской Федерации (Россия).

Бусыгина И.М. – доктор политических наук, профессор Департамента прикладной политологии, НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге (Россия).

Вайц Р. – Старший научный сотрудник и директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона (США)

Войтоловский Ф.Г. – член-корреспондент РАН, доктор политических наук, профессор РАН, директор ИМЭМО РАН (Россия).

Волджи Т. – профессор политических наук Университета Аризоны (США).

Гаман-Голутвина О.В. – член корреспондент РАН, заведующая кафедрой сравнительной политологии МГИМО МИД России (Россия).

Грум Дж. – профессор международных отношений Кентского университета (Великобритания).

Давид Д. – исполнительный вице-президент Французского института международных отношений (Франция).

Де Танги А. – главный научный сотрудник Центра международных исследований (СЕРИ)/Сьянс По, профессор (Франция).

Казанцев А.А. – доктор политических наук, главный научный сотрудник Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО МИД России (Россия).

Кокошин А.А. – академик РАН (Россия).

Колосов В.А. – доктор географических наук, заведующий лабораторией геополитических исследований, Институт географии РАН (Россия).

Коробков А.В. – профессор политологии Университета штата Теннесси (США).

Лавров С.В. – министр иностранных дел Российской Федерации (Россия).

Лебедева М.М. – доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой мировых политических процессов МГИМО МИД России (Россия).

Липкин М.А. – доктор исторических наук, профессор РАН, директор Института всеобщей истории РАН (Россия).

Мальгин А.В. – кандидат политических наук, проректор по развитию — руководитель аппарата ректора МГИМО МИД России (Россия).

Михнева Р. – доктор исторических наук, исполнительный директор Национальной ассоциации Болгарское наследие (Болгария).

Печатнов В.О. – доктор исторических наук, профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО МИД России (Россия).

Пивоваров Ю.С. – научный руководитель ИНИОН РАН, академик РАН (Россия).

Рогов С.М. – академик РАН, научный руководитель Института США и Канады РАН (Россия).

Рутланд П. – профессор Уэслевского университета (США).

Саква Р. – декан Школы политики и международных отношений Кентского университета (Великобритания).

Сергунин А.А. – профессор кафедры теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета

Столбов М.И. – доктор экономических наук, заведующий кафедрой прикладной экономики МГИМО МИД России (Россия).

Терзич С. – главный научный сотрудник Института Истории Сербской академии наук и искусств (Сербия).

Уолфорт У. – профессор им. Дэниэла Вебстера Факультета управления Дартмутского колледжа (США).

MGIMO Review of International Relations

Scientific Peer-Reviewed Journal

<http://www.vestnik.mgimo.ru/>

Editorial Board:

Torkunov A.V. – Rector of MGIMO University, Academician of the Russian Academy of Sciences. Editor-in-Chief (RAS).

Baykov A.A. – Vice-Rector for Science and Research of MGIMO University, PhD in Political Science, Associate Professor. Deputy Editor-in-Chief (Russia).

Kharkevich M.V. – PhD in Political Sciences, Associate professor, World Politics Department, MGIMO University. Editor-in-Charge. (Russia).

Artizov A.N. – Director of the Federal Archive Agency, Doctor of Historical Sciences (Russia).

Busygina I. – Professor, Department of Applied Politics, National Research University – Higher School of Economics, Saint Petersburg (Russia).

David D. – Executive Vice-President of French Institute of International Relations, IFRI (France).

De Tinguy A. – Senior Research Fellow of the Center for International Studies/Science Po, Professor (France).

Gaman-Golutvina O.V. – Corresponding member of RAS, President of Russian Political Science Association, Head of Comparative Politics Department, MGIMO University (Russia).

Groom J. – Professor Emeritus of International Relations, University of Kent (UK).

Kazantsev A.A. – Doctor of Political Sciences, Senior research fellow of Center for Political Elite Studies, MGIMO University (Russia).

Kokoshin A.A. – Academician of the RAS (Russia).

Kolosov V.A. – Doctor of Geography, Head of the Laboratory of Geopolitical Studies, Institute of Geography of the Russian Academy of Sciences (Russia).

Korobkov A.V. – Professor of Political Science and International Relations' at Middle Tennessee State University (USA).

Lavrov S.V. – Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation (Russia).

Lebedeva M.M. – PhD in Psychology, Doctor of Political Sciences, Professor, the Head of the World Politics Department, MGIMO University (Russia).

Lipkin M. – Doctor of Sciences (History). Director of the Institute of World History of the RAS, professor of the RAS (Russia).

Malghin A.V. – PhD in Political Sciences, Vice-Rector for Strategic Development - Chief of the Rector's Office, MGIMO University (Russia).

Mihneva R. – Executive Director of Bulgarian Heritage National Association, Doctor of Historical Sciences (Bulgaria).

Pechatnov V.O. – Doctor of Sciences (History), Professor at the Department of History of European and American countries, MGIMO University (Russia).

Pivovarov S.U. – Research Director of the Institute of Scientific Information for Social Sciences of RAS, Academician of the RAS (Russia).

Rogov S.M. – Scientific Advisor of the Institute for US and Canadian Studies of the RAS, Academician of the RAS (Russia).

Rutland P. – Professor of Government at Wesleyan University (USA).

Sakwa S. – Dean of the School of Politics and International Relations of the University of Kent (UK).

Sergunin A.A. – Professor, chair of theory and history of international relations, Saint Petersburg University

Stolbov M.I. – Doctor of Sciences (Economics), Head of Applied Economics Department, MGIMO University (Russia).

Terzic' S. – Chief Research Fellow of the Serbian Academy of Sciences and Arts (Serbia).

Voitolovsky F. – Doctor of Sciences (Politics), Director of the Institute of World Economy and International Relations of the RAS, Corresponding Member of the RAS (Russia).

Volgy Th. – Professor of Political Sciences at the University of Arizona (USA).

Weitz R. – Senior Fellow and Director of the Center for Political-Military Analysis at Hudson Institute (USA).

Wohlforth W.C. – Daniel Webster Professor of Government, Dartmouth College (USA).

© МГИМО МИД России.

Учредитель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации».

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия Российской Федерации.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-29004 от 3 августа 2007 г. Перерегистрировано ПИ № ФС77-69112 от 14 марта 2017 г.

Адрес редакции: 119454, Москва, проспект Вернадского, д. 76, комн. 14.
Тел./факс: 8 (495) 234-84-41;

веб-сайт: www.vestnik.mgimo.ru

e-mail: vestnik@mgimo.ru

ISSN-Print 2071 – 8160. Выходит 6 раз в год.

ISSN-Online 2541-9099.

Дизайн – Волков Д.Е., редакторы – Меден Н.К., вёрстка – Волков Д.Е.

Отпечатано в отделе оперативной полиграфии и множительной техники МГИМО МИД России.

119454, Москва, проспект Вернадского, д. 76.

Тираж 2000 экз. Объём 15,27 усл. п.л. Заказ № 909.

© Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of Russian Federation.

The Founder: Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of Russian Federation.

The Federal Service for Supervision of Communications, Information Technologies and Mass Media.

Certificate of registry ПИ № ФС77-29004, 3 August 2007. Reregistered ПИ № ФС77-69112 14 March 2017.

The Publisher Address : 119454, Moscow, Prospect Vernadskogo, 76, room. 14.
Phone/fax: +7 495 433 2774.

URL: www.vestnik.mgimo.ru;

e-mail: vestnik@mgimo.ru.

ISSN-Print 2071 – 8160.

ISSN-Online 2541-9099.

Published by MGIMO University Press. Number of printed copies: 2000.

Содержание • 14(4) • 2021

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СТАТЬИ

История международных отношений

- 7 Михнева Р., Колев В. – Берлинский конгресс 1878 г. глазами фанариота Александра Каратеодори-паши
- 26 Зорин А.В. – Февральский кризис 1948 г. в Чехословакии в восприятии американских дипломатов и прессы
- 51 Барахвостов П.А. – Институциональные особенности интеграции земель Речи Посполитой в состав Российской и Австрийской империй

Идентичность в мировой политике

- 70 Ибрагимов И.Э. – Роль лидеров в формировании внешнеполитической идентичности в Египте
- 91 Попадьева Т.И. – Языковая политика как инструмент формирования гражданской идентичности: на примере Боснии и Герцеговины

Концептуальное измерение мировой политики

- 107 Elagin D.P. – Conceptual Perspectives on State Fragility
- 136 Силаева В.А. – Эффективность санкций в международной политике

КНИЖНЫЕ РЕЦЕНЗИИ

- 154 Мельянцев В.А. – Инновация как фактор развития Израиля
- 164 Самородов А.И. – В поисках прогрессивного национализма

Table of Contents • 14(4) • 2021

RESEARCH ARTICLES

History of International Relations

- 7 Mihneva R., Kolev V. – Berlin Congress 1878 through the Eyes of Phanariot Alexander Karateodori Pashi
- 26 Zorin A.V. – The Czechoslovak Crisis of 1948 in the Perception of American Diplomats and Media
- 51 Barakhvostov P.A. – Institutional Analysis of the Integration of Rzeczpospolita Lands into the Russian and Austrian Empires

Identity in World Politics

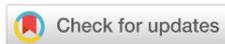
- 70 Ibragimov I.E. – The Role of Leaders in Formulation of the Foreign Policy Identity in Egypt
- 91 Popadeva T.I. – The Politics of Language in Constructing Civil Identity: Case of Bosnia and Herzegovina

Conceptual Dimension of World Politics

- 107 Elagin D.P. – Conceptual Perspectives on State Fragility
- 136 Silaeva V.A. – Effectiveness of Sanctions in International Politics

BOOK REVIEWS

- 154 Melyantsev V.A. – An Innovative Factor in The Development of Israel
- 164 Samorodov A.I. – In Search of Progressive Nationalism



Берлинский конгресс 1878 г. глазами фанариота Александра Каратеодори-паши

Р. Михнева¹, В. Колев²

¹ Варненский свободный университет им. Черноризца Храбра, Болгария

² Софийский университет им. св. Климента Охридского, Болгария

Статья показывает Берлинский конгресс и события лета 1878 г. глазами дипломата побеждённой Османской империи. Она основана на «Раппорте» главы турецкой делегации на Конгрессе Александра Каратеодори-паши (1833–1906), фанариота с греческими и болгарскими корнями, сына личного врача султана Махмуда II и первого османского юриста, окончившего юридический факультет Сорбонны со степенью доктора наук. До недавнего времени о нём писали больше как о дипломате, но в последние годы турецкие историки обратили внимание на его необыкновенную судьбу, историю его семьи, в которой было много известных фанариотов. «Раппорт» только в последнее время стал привлекать внимание историков. История его написания до сих пор неясна. Он содержит интересные подробности взаимоотношений между представителями коллективной Европы, описывает характер их интересов и факторы, которые определили судьбу Балканского региона на десятилетия вперёд. Доклад создавался османским чиновником в период, когда Балканы стали окончательно «пограничной территорией». Его автор увидел, как геополитические противоречия «больших игроков» толкнули историческую эволюцию местных народов по «колее» будущих катаклизмов. Александр Каратеодори-паша передаёт через мелкие детали наступивший разлад между представителями «коллективного Запада», их желание остановить попытки Османской империи следовать европейской парадигме развития. На фоне событий в Берлине Каратеодори уловил желание участников приступить к быстрейшему разделу «османского наследства».

Ключевые слова: Танзимат, Александр Каратеодори паша, Болгария, Освобождение 1878, международные отношения, Берлинский конгресс, Османская дипломатия, фанариоты.

Историки давно и спокойно воспринимают тот факт, что человек, заглядывая в историческое прошлое, надеется найти ответы на проблемы настоящего и спроецировать их на будущее. Коллективная память, при всей условности этого термина, формирует, в числе прочего, постоянно тлеющие очаги напряжённости. Решения Берлинского конгресса, результаты русско-

УДК: 327.5

Поступила в редакцию: 15.06.2021 г.

Принята к публикации: 10.07.2021 г.

турецкой войны 1877–1878 гг., или Второй Восточной войны, как её называли в России современники, должны были привести к миру. Последующий мирный договор между Россией и Блистательной Портой полностью следовал предписаниям Берлинского трактата, предопределив на десятилетия вперёд судьбу балканских народов. События того периода – типичный пример «эффекта колеи»¹.

Соглашения, достигнутые на Берлинском конгрессе летом 1878 г., послужили основой дальнейшего развития Юго-Восточной Европы, Восточного Средиземноморья и Чёрного моря (Протоколите на Берлинский конгрес 1885; Нарочницкий 1976; Бескровный 1977; Виноградов 1991; Золотарёв 2005; Христов 1968). Восточный кризис 1875–1878 гг. не только стал катализатором череды политических событий, но и поныне формирует основные вехи национальной памяти болгар, сербов, черногорцев, румын, турок, македонцев и других балканских народов. Особенно основательно ход конгресса изучил в своё время советский тюрколог А. Витол, но, несмотря на то, что он пользуется турецкими публикациями и источниками, он тоже не обращал внимания на сочинение османского сановника (Витол 1973).

Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы дополнить существующие представления о Берлинском конгрессе и посмотреть на происходившие там события со стороны Османской империи. За основу исследования мы взяли Доклад Блистательной порте руководителя османской делегации на Конгрессе – фанариота Александра Каратеодори-паши (1833–1906). Он был первым османским юристом, окончившим Сорбонну с докторской степенью по юриспруденции. В последние годы турецкие и греческие историки обратили внимание на незаурядную биографию и историю семьи этого известного дипломата, а также на его болгарские корни².

История Берлинского конгресса обычно изучается на основе европейских и российских источников. Значение Докладной записки османского дипломата Александра Каратеодори-паши в том, что она открывает историкам альтернативный взгляд на течение Конгресса. Записка предназначалась великому визирю Мехмеду Савфету-паше (1814–1883), который вскоре после этого был отправлен послом во Францию (Davison 1979). В только что опубликованной работе о реформах в Османской империи коротко упомянут и Доклад Каратеодори-паши как «другой взгляд» на события в Берлине (Methodieva 2021).

Доклад Каратеодори-паши о Берлинском конгрессе по сей день не очень популярен среди исследователей, поскольку не вполне ясно, как создавался этот документ³. Скорее всего, он был написан по-французски, поскольку в период

¹ См. подробнее: Mahoney 2000: 507–548.

² Информация о болгарском происхождении Каратеодори-паши основана на воспоминаниях его зятя (Efe 2010)

³ Жанр этого документа неординарен. Наиболее близок термин «доклад», как и указано в издании на французском языке, также можно говорить о «памятной записке», отчёте. Мы употребляем в настоящей работе все упомянутые термины.

начавшегося в 1856 г. второго этапа реформ Танзимата⁴ дипломатические документы составлялись на французском⁵. В 1919 г. Доклад Каратеодори опубликовал на французском языке Бертран Баррей (1859–1933), учитель французского⁶.

Автор Доклада и его публикации до настоящего времени не были объектом пристального изучения. Попытаемся сделать первые шаги в этом направлении.

В 1880 г. молодой француз Бертран Баррей, получивший образование в Афинах, был нанят преподавать французский язык наследному принцу Абдул-Маджиду II (1868–1944), сыну султана Абдул-Азиза I, и другим подросткам из семей высокопоставленных османских сановников (Çetin 2010). Со временем Баррей зарекомендовал себя как один из лучших проводников французского культурного влияния на Босфоре. Близость к местному дипломатическому корпусу сделала его важным информатором о событиях в Османской империи конца XIX — начала XX вв.

В 1917 и 1918 гг. во Франции были опубликованы две книги Б. Баррея по истории Османской империи⁷. Затем последовала книга 1919 г. с текстом Доклада. К тому времени интересующий нас документ, переплетённый с судьбой османской элиты и фанариотов, имел уже свою историю.

Сразу после младотурецкой революции 1908–1909 гг. и либерализации печати в 1909 г. Доклад Каратеодори-паши опубликовал Дамад Махмуд Джалаледдин-паша⁸. Это издание считалось оригиналом документа, но никто не задался вопросом, где находится сам оригинал и какова причина его появления через 20 лет после окончания работы Берлинского конгресса. В последние годы исследователи ссылаются также на дополненное картами и иллюстрациями издание (Mahmud Celâleddin Paşa 1983).

Первый издатель Доклада – известный османский сановник Дамад Махмуд Джалаледдин-паша, а второй – авторитетный историк, директор Государственного архива Турции. Махмуд Джалаледдин-паша (Дамад, зять султана), грузин по происхождению, был сыном капудан-паши османского флота. Его вторая жена, Сениха Султан (1851–1931), дочь Абдул-Меджида I (1823–1861, на пре-

⁴ Танзимат — принятое в литературе название модернизационных реформ (и самого периода их проведения) в Османской империи с 1839 до 1876 г., когда была принята первая османская конституция.

⁵ В болгарской историографии, в отличие от российской, определение «османская» относится к имперскому периоду до 1923 г., а «турецкая» – к республиканскому. Это чёткое деление соблюдается по внутри- и внешнеполитическим причинам.

⁶ B. Barreille. 1919. *Le Rapport secret sur le Congrès de Berlin adressé à la S. Porte par Karatheodory Pacha, premier plénipotentiaire ottoman*, Paris. Paris: Editions Bossard. Medlicott W.N. 1938. *The Congress of Berlin and after: A Diplomatic History of the Near Eastern Settlement, 1878–1880*. London. Novotny A. Quellen und Studien zur Geschichte des Berliner Kongresses 1878, Vol. 1. Österreich, die Türkei und das Balkanproblem im Jahre des Berliner Kongresses, Graz-Köln, 1957. S. 359; Jakшић Г. 1955. *Босна и Херцеговина на Берлинском конгресу*. Београд См. также: Маринковић М. 2009. Тајни мемоар Александра Каратеодори-паша са Берлинског конгреса. *Историјски часопис*. Књ. LVIII. С. 249–260. Автор этой работы использовала только последнюю часть документа, посвящённую Боснии и Герцеговине.

⁷ Bareilles B. 1917. *Les Turcs. Ce que fut leur empire, leurs comédies politiques*. Paris: Perrin et Co, Bareilles B. Constantinople. Ses cités franques et levantines. Paris: Éditions Bossard, 1918.

⁸ См. <https://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/pdf/F00111.pdf> (accessed 25.08.2021)

столе 1839–1861), сестра султана Абдул-Хамида II (1876–1909). Хотя после вступления на престол Абдул-Хамида II его отношения с сестрой были сложными, влияние Джалаледдин-паши при дворе возросло. Он активно вмешивался во внутривластные дела Порты, особенно в период войны 1877–1878 гг. Поскольку он неоднократно превышал свои полномочия, Абдул-Хамид II снял его со всех должностей. После этого первого кризиса в отношениях с султаном Махмуд Джалаледдин-паша продолжил участие в политической и культурной жизни империи, но через несколько лет после окончания войны в его отношениях с Абдул-Хамидом II случился новый кризис. Ближайшие родственники султана попытались вернуть на престол объявленного слабоумным предыдущего султана Мурада V. За участие в заговоре Махмуд Джалаледдин-паша был приговорён к смертной казни; последовал развод с Сенихой Султан, которая также была причастна к заговору. Приговор всё же смягчили, и после недолгой ссылки в 1899 г. Махмуд Джалаледдин-паша уехал за границу. До конца жизни вместе с двумя своими сыновьями он находился в эмиграции во Франции, в Англии, Швейцарии, Бельгии, на Кипре. Махмуд Джалаледдин-паша проявил себя ярким противником любимого султанского «детища» – строительства железной дороги Берлин – Босфор – Багдад (проект «Три Б»). По своим убеждениям он примкнул к стану приверженцев младотурецкого движения. При поддержке сыновей Махмуд Джалаледдин-паша пытался примирить различные течения в этом движении.

В конце XX в. Доклад, опубликованный в 1909 г. на османско-турецком, а в 1919 г. на французском языках, обрёл вторую жизнь. В 1983 г. появилось фототипное издание (Mahmud Celâleddin Paşa 1983), подготовленное профессором Исметом Мироглу (1944–1997), в то время преподавателем Стамбульского университета, позже – генеральным директором Государственного архива Турции. К сожалению, и в этом издании нет точного указания на местонахождение оригинала Доклада Александра Каратеодори-паши. Однако сам факт подготовки издания и редакция книги Исметом Мироглу, авторитетным историком и руководителем архива, говорит о том, что речь не может идти о фальсификате. Издание 1983 г. существенно отличается от французской публикации 1919 г. Трудно сказать, оригинал ли это, или перевод книги 1909 г., или текст, написанный ещё в 1878 г., или его пересказ. Издание 1983 г. и внешне отличается от публикации 1919 г.: его объём вырос до 744 страниц. Книга, приуроченная к 105-летию Берлинского конгресса, состоит из разделов с главами, параграфами, подпунктами, с добавлением карт.

Наша статья основана на тексте, изданном Б. Барреем на французском языке в 1919 г., именно он обычно используется в европейской и американской историографии. В книге, изданной в Париже в 1919 г., есть отдельные главы, но нет такой чёткой структуры, как в турецких изданиях, особенно последнего от 1983 г. Имеются только большие разделы (главы), которые Баррей дополнил своими комментариями. Первые 60 страниц парижского издания, написанные

Б. Барреем, имеют характер введения к Докладу Каратеодори-паша. Это введение состоит из двух разделов: первый посвящён османским фанариотам и институту драгоманов-переводчиков, второй – Берлинскому конгрессу. Затем представлен рассказ османского паша о событиях в Берлине. Помимо наблюдений османских сановников, присутствовавших на Конгрессе, Доклад показал место нового поколения фанариотов в модернизационных трансформациях империи.

В настоящее время трудно определить, имел ли французский издатель доступ к оригиналу или исходил из текста, опубликованного в 1909 г. Скорее всего, это или авторизированный Б. Барреем пересказ, или публикация оригинального документа, который Каратеодори-паша составил на французском языке. Основание для подобного предположения даёт факт появления машинописной копии Доклада «*Tapuscrit original 1878*»⁹ в описи аукциона. Других данных об этом варианте источника мы не обнаружили. В пояснении сказано, что это оригинальная машинописная копия рассказа о Берлинском конгрессе 1878 г., указан автор Александр Каратеодори-паша. Оговаривается также, что настоящая машинописная копия имеет существенные отличия от публикации 1919 г.¹⁰ Эта информация, конечно, не может означать, что машинописная копия и есть оригинал Доклада, но вопрос требует комментария. Странен сам факт появления машинописной копии в 1878 г. Как известно, именно тогда фирма «Е. Ремингтон и Сыновья» начала массовое производство пишущих машинок. Маловероятно, чтобы они сразу вошли в употребление в МИДе Османской империи, но это не исключено. Александр-паша мог писать на французском языке, языке дипломатии XIX в., на котором он обучался в Сорбонне и активно общался во время Конгресса. Его записку переписали и напечатали, а позже канцеляристы и драгоманы Порты представили в форме Доклада великому визирю и султану – такая традиция существовала. Таким образом появился документ на османско-турецком языке. Возможна и другая версия: после окончания событий, уже на досуге автор расширил свой текст. Всё это только гипотезы. К сожалению, в настоящее время мы не располагаем дополнительной информацией.

Одна из гипотез, которая соответствует общему виду текста, состоит в том, что Баррей, будучи близок к кругу переводчиков Порты и к учителям француз-

⁹ *Tapuscrit original du compte-rendu du Congrès de Berlin, 1878. Alexander Karatheodori Pasha.* <https://www.vialibri.net/years/books/76700365/1878-alexander-karatheodori-pasha-tapuscrit-original-du-compte-rendu-du> 21 04 2021 (accessed 25.08.2021)

¹⁰ Полное заглавие, которое выходит в интернет ресурсе: «*Petit In-folio, plein veau de l'époque, deuxième plat fortément tâché, VII + 110 pp, 1878 Empire ottoman : une mise-à-mort annoncée - le tapuscrit de Berlin Ce n'est qu'en novembre 1919 que ce texte redécouvert fut publié intégralement par Bertrand Bareilles sous le titre Le Rapport secret sur le Congrès de Berlin adressé à la „S Porte” par Carathéodory Pacha, premier plénipotentiaire ottoman. La portée de la conférence de Berlin dans laquelle le chancelier „de fer” usa de toute son autorité, de sa ruse, de sa brutalité pour jouer les chancelleries occidentales et obtint la blessure mortelle de l'Empire ottoman qui, suivant les historiens de l'époque et de nos jours, entraîna les conséquences incalculables sur le destin de l'Europe et sur les conflits futurs. Notre tapuscrit comporte de significatives variations avec le texte imprimé.*»

ского языка, получил доступ к французскому тексту или к его частям, что и объясняет отличия с текстом машинописной копии, которого мы не видели. Вероятно, он и стал основой его публикации. Об этом говорит автор французского издания: «по чистой случайности мне удалось сделать копию» (Barreille 1917: 5).

В издании 1919 г. текст Каратеодори состоит из четырёх тематических разделов. Два из них посвящены канцлеру Бисмарку и открытию Конгресса, третий (с. 91–128)¹¹ называется «Болгария и Восточная Румелия», четвёртый – «Босния и Герцеговина».

По какой причине Доклад был опубликован именно в 1919 г.? Когда в 1917–1918 гг. появились упомянутые ранее книги Б. Баррея, заканчивалась Первая мировая война. В 1919 г. Париж стал центром международной дипломатии, где победители вершили судьбу проигравших. Правила, установленные Вестфальской системой, радикально менялись (Урумов 2014). Посвящая свою первую книгу 1917 г. подданным Британской империи, погибшим в Дарданелльской экспедиции 1915–1916 гг., автор, вероятно, пытался показать связь времён, описывая происходившее в Берлине в 1878 г. Среди причин современной войны на первое место он поставил нерешённые в Берлине вопросы.

В первой части книги 1917 г. Б. Баррей делится впечатлениями от политической жизни в империи; этот же текст приведён в качестве предисловия к книге 1919 г. Помимо прочего, Баррей одобряет идею этнически чистых территорий ради блага Турции: «Я убеждён, что Турция, где будут только турки, станет хорошим государством» (Barreille 1919: 39). Фактически Б. Баррей поддерживал начавшийся в ходе войны процесс изгнания болгар, греков и армян из Османской империи и показывал свою симпатию идее мононационального, этнически чистого турецкого государства в противовес многонациональной османской империи

Публикации на турецком и французском языках отличаются ещё и тем, что в обширном вступлении Б. Баррей излагает своё видение происходивших на Берлинском конгрессе событий. По его словам, французской дипломатии не удалось уловить суть политики Германии в Берлине – начало «натиска на Восток». Он подчёркивает также, что Великобритания не осознавала угрозы превращения Австрии в инструмент германской экспансии. Рутинная в дипломатии чрезвычайно опасна, упрекая участников Конгресса, пишет Баррей (с. 56–57).

Серьёзный недостаток в позиции французского издателя — это его предвзятое отношение к роли и поведению османских делегатов. Он первым сообщил, что делегация Порты состояла из второстепенных чиновников: христианин и принявший ислам немец. Третий член делегации и вовсе не упомянут — это был османский посол в Берлине Саадулла-паша (1838–1891) или Саадула-бей, как он известен по российским источникам. Именно он из-за опоздания первых

¹¹ Здесь и ниже речь идёт об одном и том же документе, поэтому страницы указаны в скобках, а не в примечаниях.

двух делегатов присутствовал на Конгрессе в день его открытия. Предвзятая оценка членов делегации переключалась в позднейшие исследования без анализа ситуации, в которой приходилось действовать османским делегатам. Особенно это касалось личности и профессиональных качеств главы делегации – Александра Каратеодори-паши. Мало того, в первой своей книге 1917 г. Б. Баррей назвал руководителем делегации Мехмеда Али-пашу (1827–1878), бывшего на самом деле вторым турецким делегатом на Конгрессе (Нотоп-Риеке 2014). Эта оплошность, исправленная в книге 1919 г., указывает либо на поспешность автора, либо на то, что он работал с неполным вариантом текста и не был курсе всех деталей происходивших событий.

Доклад был составлен сразу после окончания Берлинского конгресса как своеобразный отчёт. Документ должен был убедить Порту принять достигнутые договорённости и «проглотить» предстоящее подписание окончательного мирного договора с Россией, построенного в соответствии с «инструкциями» из Берлина.

Начнём с общих наблюдений и оценок роли участников в принятии решений. По словам Каратеодори-паши, Конгресс был битвой премьер-министра Великобритании Бенджамина Дизраэли, лорда Биконсфильда (1804–1881), с государственным канцлером Российской империи князем А.М. Горчаковым (1798–1883). Это общепринятое мнение османский дипломат уточняет: Конгресс, по сути, был исключительно «немецким манёвром» (Bareilles 2017: 149).

Особенно ценны наблюдения автора Доклада над политическими уловками участников Конгресса во время дискуссий. По его словам, один из трёх российских представителей на Конгрессе, граф П.А. Шувалов (1827–1889), принявший на себя основную тяжесть битвы по «болгарскому вопросу», опираясь на предварительные договорённости с британцами, недооценил ревнивый взгляд Вены в сторону России и рост её влияния на Балканах. Точно так же он не разобрался в неоднозначности позиции Бисмарка. Между тем неблагоприятный для России ход событий предполагали многие современники (Bareilles 2017: 158–159). Знаменитый русский писатель И. С. Тургенев за четыре месяца до начала Конгресса писал: «Контрданс наш с Англией только что начался; запутаннейшие фигуры – впереди. Бисмарк, по-видимому, хочет ограничиться ролью «тапёра»: пляшите, мол, голубчики, а мы посмотрим»¹².

«Коллективный Запад» – современная выразительная, но предельно неточная формулировка, если её применить к Берлинскому конгрессу. В ходе Конгресса стало понятно, что у каждой европейской державы есть конкретные скрытые претензии к России. Каратеодори-паша заметил, что англичане не соблюдают ранее достигнутых с П.А. Шуваловым договорённостей. Османские делегаты убедились также и в том, что их надежды на безоговорочную поддержку Лон-

¹² Цит. по: Берлинский конгресс. <https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/bierlinskii-konghriess>

дона рухнули. Все устные заверения и договорённости, достигнутые в ходе заседаний, в дальнейшем игнорировались, и турецкие делегаты оставались без союзников, им лишь сообщали о тех или иных изменениях в решениях Конгресса.

Подчеркнём, что партнёрами европейских переговорщиков были не второстепенные чиновники, а незаурядные государственные деятели Османской империи – Александр Каратеодори-паша и Мехмед Али-паша. Оба они – ближайшие соратники одного из главных идеологов реформ Танзимата Мехмеда Эмина Али-паши (1815–1871). Человек высокообразованный, эрудированный, знавший европейскую культуру, языки и политику и выступавший за равноправие религий и национальностей, Мехмед Эмин Али-паша был влиятельной фигурой в империи. В 1852–1871 гг. он пять раз занимал пост великого визиря, был министром иностранных дел, послом в Вене и в Лондоне, руководителем турецкой делегации на Парижских мирных переговорах.

Однако европейские участники Конгресса и особенно канцлер Бисмарк воспринимали османских коллег, а также действия Блистательной Порты через прочно укоренившиеся стереотипы. Поскольку даже в теории возможность реформирования османского общества представлялась европейским участникам Конгресса абсурдной, речь шла лишь о территориальном разделе турецких владений.

Александр Каратеодори-паша – представитель одной из выдающихся фамилий «новых» фанариотов, которые вошли в состав османской элиты после Греческого восстания (1821–1829) и де-факто реализовали Танзимат. Он считал себя последователем двух традиций: новой, прозападной, и старой, требовавшей от высокопоставленного османского чиновника хорошей образованности. Несмотря на сложную историю отношений между Портой и фанариотами, обе стороны постепенно достигли консенсуса, без которого едва ли можно представить себе начало и ход Танзиматских реформ. Судьба Александра Каратеодори связана именно с этими переменами в империи.

В публикациях современников говорится, что со стороны отца его семья – болгары из окрестностей г. Эдирне (Адрианополь), с. Боснакьой (Bosnaköy), и местного предка звали Тодором, лишь позднее к фамилии добавили «Кара» – Чёрный. Отец Александра Стефан Каратеодори (1789–1867) рано остался сиротой. При поддержке епархии Эдирне он получил медицинское образование в Пизе. Вернувшись в Эдирне, Стефан приобрёл авторитет среди сограждан. Гонения на православных греков после восстания 1821 г. подтолкнули его, при поддержке влиятельных покровителей, к переезду в столицу. С 1827 г. он стал врачом при дворе султана Мехмеда V. До 1867 г. Стефан Каратеодори преподавал на французском и турецком языках в военно-медицинской школе «Мектеб-и-тиббие-и-Шахане», построенной по приказу султана Абдул-Хамида II. Всё это время он поддерживал тесные контакты с патриархатом, принимая участие в подготовке нового Устава Константинопольской Патриархии. Его энциклопедические и лингвистические знания впечатляли современников. Мать Александра Люсия Маврокордато (1812–1884) – наследница двух известных фанариотских и

валашско-молдавских семей Маврокордато и Мурузи, женщина хорошо образованная и социально активная. В середине 1875 г. она возглавила попечительский совет расположенной в Стамбуле школы для девочек Ζάπλειο Παρθεναγωγείου, открытие которой финансировали богатые меценаты Константинос и Евангелус Запасы. Школа распахнула двери в сентябре 1875 г. и сразу приобрела популярность среди греческой и православной общин столицы благодаря Калиопе Кехая, возглавлявшей школу до 1890 г., которая была широко известна как педагог и деятельница феминистского движения. Жена Александра, Кассандра Мусури (1850–1936), происходила из семьи высокопоставленных чиновников и дипломатов. Её отец Павлос Мусури был князем Самоса и послом в Вене с 1866 по 1873 гг. Дядя Кассандры Коста Мусури был османским послом в Афинах в 1834–1848 гг. После окончания русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Кассандра Каратеодори была награждена султаном Абдул-Хамидом II за свою благотворительную деятельность; этой чести удостоились только три немусульманки. Из семерых детей супружеской четы Александра и Кассандры младшая дочь приходилась снохой деятелю болгарского Национального Возрождения Гавриле Крыстевичу – это был радетель за церковную независимость, член султанского Дивана, Директората Восточной Румелии и её генерал-губернатор до объединения с Княжеством Болгария в 1885 г. Таким образом, образование и семейные связи помогли Александру реализоваться на дипломатическом поприще (Efe 2010; Georgiadou 2003; Akrinar 2015) После непродолжительной работы переводчиком Александр в 1852 г. уехал в Париж, где изучал математику, естественные науки и юриспруденцию. По возвращении он был назначен главой Морского суда, а с 1864 г. работал переводчиком в юридическом отделе Суда и в дипломатической службе Блистательной порты. В 1866–1869 гг. на Крите вспыхнуло восстание, получившее широкий резонанс за рубежом, и общественность многих европейских стран сочувствовала грекам. В круг чиновников, которые должны были урегулировать отношения с повстанцами и греческой общиной, османские власти включили Александра Каратеодори. Молодой чиновник участвовал в разработке новых правил управления островом, вёл переговоры с лидерами восстания, согласовывал условия амнистии и сумел добиться для греческого статуса официального языка наравне с турецким. Во время миссии на Крите Александр заручился поддержкой Мехмеда Эмина Али-паши (см. выше).

Активная дипломатическая карьера Александра Каратеодори началась в 1870 г. сразу по окончании миссии на Крите. В 1870 г. он был временным поверенным в делах в османской миссии в России, с 1874 по 1876 гг. был на дипломатической службе в Риме. В то же время он активно участвовал в подготовке и реализации Конституционной реформы¹³. Некоторые историки приписывают

¹³ После Берлина Александр-паша некоторое время в конце 1878 г. занимал пост генерал-губернатора Крита. По возвращении в Стамбул он получил высокий пост в министерстве иностранных дел. С 1885 г. до конца 1894 г. он был князем Самоса, затем вновь назначен губернатором Крита. См. (Efe 2010).

ему авторство речи, которую Абдул-Хамид II зачитал при открытии парламента. Современные исследования биографии А. Каратеодори полностью опровергают утверждение Баррея, будто в Берлин был отправлен второразрядный чиновник. После Б. Баррея в западной историографии второй половины XX в. это ошибочное мнение закрепилось. Утверждалось, будто Александр Каратеодори не справился со своими задачами в Берлине, за что и впал в немилость. Поведение османской делегации и её главы сравнивают с поведением османских делегатов на переговорах о подписании Парижского мира 1856 г. и конференции 1871 г. о снятии запрета на размещение Россией военно-морского флота в Чёрном море. «Трудно представить себе больший контраст с той ролью, которую играют представители Османской империи в Берлине», – отмечала Барбара Йелавич (Jelavich 1973: 113). Такое сравнение полностью вырывает события из их исторического контекста. Спустя десятилетия после окончания Крымской войны отношение к Порте изменилось настолько, что в Берлине с турецкой делегацией можно было обращаться уже недипломатично. Порядок заседаний и выступлений, протоколы, которые должны были вести организаторы Конгресса, а также серия предварительных (формальных и неформальных) переговоров между участниками Конгресса, протекали по-другому и создавали совсем иную атмосферу, чем это было в 1856 и 1871 гг. Изменить ситуацию был не в силах даже столь эрудированный и образованный человек, как Александр Каратеодори-паша. В этой связи напомним, что на его карьере недовольство Порты итогами Конгресса никак не повлияло.

Поведение другого участника делегации – Мехмеда Али-паши – также заслуживает подробного рассмотрения. Присутствие в Берлине Людвиг Карла Фридриха Детруа, он же фельдмаршал Мехмед Али-паша, широко обсуждалось в светских хрониках. На картине художника Антона фон Вернера Мехмед Али-паша изображён рядом с другими делегатами у переговорного стола. Через несколько месяцев после завершения Конгресса, в сентябре 1878 г., он был убит албанскими повстанцами в Джяковице (историческая область Метохия). В своих воспоминаниях А.Ф. Редигер¹⁴ (1853–1920) упоминал о деловой встрече с Мехмедом Али-пашой после взятия Плевны, в которой с российской стороны кроме Редигера участвовал с командир 1-й гвардейской дивизии Оттон (Хотон) Егорович Раух. «Мехмету Али в то время было пятьдесят лет, и он производил впечатление человека интеллигентного и сообразительного», – писал А.Ф. Редигер¹⁵.

¹⁴ Участник войны 1877–1878 гг., в 1882–1883 гг. товарищ военного министра Болгарии при князе А. Батенберге, 1905–1909 гг. военный министр России.

¹⁵ «Мехмет-Али был по происхождению немец; при нашем свидании присутствовал его начальник артиллерии, Штреккер-паша, тоже немец, и разговор состоялся на немецком языке. Подлежавшие обсуждению вопросы были быстро улажены и затем пошла беседа. Мехмет-Али перед тем командовал армией, в состав которой входили войска, оборонявшие Правецкий перевал, и говорил, что у него там были части, никуда не годные; говорили и о других событиях войны и о его собственной службе в Турции, причём он сетовал на то, что только теперь добрался

В Стамбуле включение Али-паши в состав делегации рассматривали как жест дружелюбия, но на деле его присутствие лишь раздражало председательствовавшего на Конгрессе канцлера Бисмарка, а прусские военные старались по возможности игнорировать своего бывшего соотечественника. Один из участников Конгресса охарактеризовал Али-пашу как умного, полностью перенявшего османские манеры человека с ироничной улыбкой, которому не следует доверять (Hotopp-Riecke 2018)¹⁶: таким образом сработало стереотипно негативное восприятие «восточного человека».

В итоге, вопреки ожиданиям Порты, присутствие Али-паши скорее препятствовало нормальному ходу дискуссии. Это была очевидная ошибка третьего члена турецкой делегации, посла Порты в Берлине Саадулла-паши, который не сумел прозондировать мнение немецкой стороны по поводу желательности присутствия на Конгрессе Мехмеда Али. В Берлин приехал принявший ислам немец, свободно владевший несколькими языками, с хорошим военным образованием, что он несколько раз доказывал в дискуссиях по поводу размежевания границ. Начальное образование он получил в родном Магдебурге. В 1843 г., в возрасте 16 лет, он бежал с немецкого судна во время стоянки на Босфоре. Юношу спасли слуги Мехмеда Эмина Али-паши (о нём см. выше), ставшего его покровителем. Усвоив турецкий язык, молодой немец в 1846 г. поступил в военное училище, а в 1853 г. – на военную службу. Он хорошо зарекомендовал себя в Крымскую кампанию и добросовестно выполнял военные поручения в дальнейшем. В русско-турецкой войне 1877–1878 гг. в звании фельдмаршала Мехмед Али-паша был главнокомандующим турецкими войсками к северу от Балкан, за плохое руководство которыми подвергся резкой критике. После падения Плевны ему было поручено организовать защиту Константинополя. Для этой цели он сформировал армию, но уже 9 января 1878 г. получил приказ начать переговоры о перемирии (тогда и состоялась описанная выше встреча с Реддингером). Затем последовал Берлинский конгресс, где «Турок унижали на каждом шагу. Во время одного из официальных балов конгресса немецкий оркестр подготовил оригинальную музыкальную программу с пьесами каждой из семи стран-участниц. Но музыканты отказались играть турецкую музыку и вместо этого предложили «March a la Turk» и марш Доницетти. Это одно из меньших унижений, которые им пришлось проглотить»¹⁷ (Глени 2013).

Возвращаясь к руководителю османской делегации, отметим, по мнению Александра Каратеодори, подписанный в Берлине договор стал результатом дипломатии Бисмарка и его негативного отношения к Порте. В тексте Записки

до чина маршала.... Оказалось, что наш хозяин пишет немецкие стихи; он нам прочёл несколько из них...» (Редигер 1999: 101–102).

¹⁶ Hotopp-Riecke M. *Der Pascha aus Magdeburg: Reflexionen. Irritationen. Der Weg des Magdeburger Hugenotten Ludwig C.F. Detroit inspiriert noch immer. Hugenotten*, 85. 2018/2. P. 51–71; Detroit (Detroy), Ludwig Carl Friedrich (Mehemed Ali-Pascha)

¹⁷ Цит. по: Gundermann I. 1878. *Berlin als Kongreßstadt*, Berlin. 103 n.v.

канцлеру посвящена отдельная глава (с. 65-73), где Каратеодори пишет о категоричных высказываниях Бисмарка, не скрывавшего, что считает внешнюю политику Османской империи «неэффективной и примитивной» (с. 70). По словам османского дипломата, Бисмарк, руководствуясь собственными мотивами, не только не оценил усилия Порты по европеизации Османской империи, но и неоднократно демонстрировал презрительное непонимание ситуации на Востоке в целом. Следствием такой политики стал, в частности, запрет предоставлять права куцовалахам, как это было гарантировано прелиминарным Сан-Стефанским договором от 19 февраля (3 марта) 1878 г., составленным графом Н.П. Игнатьевым (1832–1908) (Hertslet 1878: 2672, 2696; Alben:187, 201; Стефанова: 147, 155)¹⁸. По мнению Каратеодори-паши, отказ Бисмарка обсудить ситуацию с кавказскими лазами и «армянский вопрос» показал, что канцлер столь же поверхностно вникал и в «болгарский вопрос». Каратеодори, за спиной которого была успешная миссия по наведению порядка на острове Крит (см. выше), видел в германском канцлере политика с серьёзным дефицитом знаний по Востоку в целом, в частности по менталитету местных народов, их культуре и традициям. В отличие от России и Англии, для которых Чёрное море и Кавказ оставались чувствительной зоной соприкосновения интересов, прусский канцлер плохо понимал специфику Востока (с. 71).

Руководитель турецкой делегации быстро оценил ситуацию, осознав, что обо всех решениях за спиной османских делегатов договариваются ещё до начала заседания. Начав сам действовать в этом ключе, он пытался объяснить Бисмарку, что Porta подготовила и проводит глубокие реформы. В ответ канцлер заявил, что никакие реформы не помешают соглашениям, достигнутым правительствами европейских стран (с. 80).

Как выяснилось, Великобритания и Россия зафиксировали свои позиции и договорённости в заключённом 18 (30) мая 1878 г. предварительном соглашении, по которому Россия приняла британское предложение ограничить будущую Болгарию территорией от Дуная до Балканского хребта (Айрапетов 2006: 34). Вена была проинформирована об основных моментах переговоров графа П.А. Шувалова в Лондоне по этому вопросу (с. 79) и сразу согласилась с предложением Лондона. Об этом стало известно и османским посланникам. Зачастую делегаты Порты узнавали о достигнутых договорённостях из берлинской прессы, а также из городских слухов: «часто мы не знали, о чём они договорились»¹⁹ (с. 93), – сказано по этому поводу в Докладе. Любые попытки османских делегатов каким бы то ни было образом повлиять на характер принимаемых решений пресекались участниками Конгресса. Бисмарк грубо и бесцеремонно заявил А. Каратеодори-паше: «Если вы воображаете, что конгресс собрался ради Осман-

¹⁸ См. подборку в тексте Договора

¹⁹ В тексте «nous ne saurions dire au juste en quoi ces pourparles ont consisté».

ской империи, то вы глубоко заблуждаетесь. Сан-Стефанский договор остался бы без изменений, если бы не затрагивал некоторых вопросов, интересующих Европу» (Чернов 1984: 103; Генов 1928: 49). Каратеодори стало понятно, что Конгресс нацелен на ревизию итогов войны, зафиксированных в Сан-Стефанском договоре, а интересы Порты вообще не принимаются во внимание. Скоро история показала, что уже в Берлине Союз трёх императоров де-факто развалился: общность интересов Петербурга, Вены и Берлина была иллюзорной.

В своих оценках Каратеодори справедливо исходил из того, что во время Конгресса дипломатия была сведена к минимуму, а решения принимались участниками вне зала заседания. Устные инструкции великого визиря турецкой делегации содержали пять пунктов, из которых первые два касались «болгарского вопроса», в частности, границы между Княжеством и Восточной Румелией, а также сохранения Варны в составе империи (с. 83). А. Каратеодори признавал, что он не сумел выполнить главное указание Порты – отодвинуть рассмотрение «болгарского вопроса» на задний план. Письменные возражения османских дипломатов не были зафиксированы в протоколе заседаний Конгресса. Опытный дипломат, Каратеодори-паша описал странный способ составления протоколов как части основной документации Конгресса. Протоколы и Договор, который проистекал из них, в большей части были выражением его идей [Бисмарка], его желаний, а очень часто и его торопливости. Протоколы велись странно, неточно, окончательный вариант не зачитывался перед участниками, их окончательная версия не принималась всеми делегатами (Barreille 1917: 150). Между тем эти записи имели большое значение, поскольку на их основании предстояло подписывать мирный договор с Россией. Для Каратеодори и его коллег казалась естественной возможностью по крайней мере выразить своё мнение, но это если и происходило, то лишь в частных беседах, не приносивших реального результата.

Конгресс протекал как театрализованное представление по сценарию, включавшему и секретную дипломатию, и частные договорённости, и пустые многословные речи, предназначенные для того, чтобы камуфлировать достигнутые ранее договорённости – например, о том, что османские войска покинут Варну, в то время как делегаты Порты ждали, что им предоставят право защитить свою позицию, отличную этого предложения. Позже в приватной беседе граф П.А. Шувалов сказал А. Каратеодори, что российская делегация не могла открыто признать, что идёт формальный спор о Варне, тогда как её судьба уже предрешена (с. 86). Каратеодори-паша отмечал, что после решения этого вопроса российские делегаты вообще перестали обращать на внимание на османских, решив, что те полностью зависят от англичан (с. 86). О том, что Порта утрачивает Варну и Софию в обмен на стратегически важные долины рек Места и Струма, впадающих в Эгейское море, члены османской делегации узнали лично от Бисмарка. Эта территория оставалась под властью Порты, уменьшая территорию Восточной Румелии. В мемуарах А. Каратеодори-паша записал, что

в ночь с 15 на 16 июня «со шлемом на голове» в 21.30 их посетил канцлер. Этому посещению и истории с отказом от крепости Варна Каратеодори посвятил несколько страниц. Для него произошедшее было одним из важных уроков, о котором он хотел проинформировать Порту, а именно: в Османской империи европейцы не видят равноправного партнёра. За два дня до этого решения в ходе личной встречи с одним из членов английской делегации²⁰ Каратеодори получил заверение в том, что решения по Варне и Софии будут ещё обсуждаться. Дипломаты Порты серьёзно готовились к этой дискуссии, картографические и статистические материалы, между тем как окончательное решение в то время уже было подготовлено. Выступить им не довелось (с. 94–95).

Ключ к пониманию стратегической важности результатов Берлинского конгресса дают слова министра иностранных дел Австро-Венгрии, представителя империи Конгрессе графа Д. Андраши (1823–1890): «Определяя границы, мы должны принимать решения, исходя из стратегических соображений, из этнических – только тогда, когда нет другого выхода» (Глени: 146).

Ценность Доклада Александра Каратеодори-паши заключается в воссоздании чёткой картины того, что происходило на Берлинском конгрессе не только за столом переговоров, но и в кулуарах. Каратеодори оставил доказательство как своего профессионального мастерства, так и того, что Османская империя на Берлинском конгрессе де-факто была уже обречена. Империя потерпела военное и моральное поражение, а султан Абдул-Хамид II никак и не мог поверить в то, что он потерял «половину земли, оставленной ему отцом». Россия, пусть частично, восполнила своё дипломатическое поражение на Конгрессе: вопреки противодействию англичан, она округлила владения в Закавказье присоединением Карса, Ардагана и Батуми; несмотря на потерю Северной Добруджи, отошедшей к Румынии, Россия вернула себе Южную Бессарабию и доступ к Дунаю. Но в последующие годы вектор её внутренней и внешней политики изменился. После смерти Александра II Петербург сосредоточился на решении внутренних проблем, а во внешней политике переориентировался на Дальний Восток и Среднюю Азию. Основная цель де факто всех «партнёров» России на Конгрессе была полностью достигнута: её влияние на Балканах в долгосрочной перспективе удалось ограничить. Александр Каратеодори-паша включил в Записку свою беседу с графом П. А. Шуваловым. По мнению российского дипломата, в Берлине был достигнут максимум возможного: «Ситуация такова, и жаль, если в Санкт-Петербурге этого не поймут. Россия получила небольшую территорию в Азии и Бессарабии и 1/7 влияния в Болгарии. Те, кто не примут этого, хотя бы войны» (с. 120–121).

²⁰ Это был Вильям Генри Ваддингтон, член Сената и госсекретарь по внешней политике, уполномоченный один из членов английской делегации на Конгрессе.

Тень Крымской войны, показавшей, что судьба региона и решение «болгарского вопроса» зависят от сложного переплетения интересов европейских держав, не только не исчезла, но даже сгустилась. В 1880-1890-е гг. России пришлось на Балканах отступить, и регион во всё большей мере превращался в зону, «где на пересечении трансконтинентальных коммуникаций вошли в прямое соприкосновение региональные системы Ближнего Востока, Евразии и Европы, где вступили в сопряжение и религиозные системы ислама и христианства, православия и католицизма. Это предопределило состояние, которое российскими учёными Н. Данилевским и П. Сорокиным охарактеризованы как противостояние двух культур или цивилизаций» (Задохин, Низовский 2000: 6). За Балканами окончательно закрепился статус пограничной территории, где сталкиваются геополитические интересы «больших игроков», а исторические судьбы народов идут по «колее», проложенной в 1878 г., в ожидании очередного катаклизма. Александр Каратеодори-паша смог уловить и отразить в своём Докладе мелкие, на первый взгляд, факты, свидетельствовавшие о противоречиях между представителями «коллективного Запада», об их стремлении остановить попытки османской элиты следовать европейской парадигме развития. Желание приступить к активному «разделу имущества» – территории Османской империи, определяло историю Балкан. Каратеодори-паша обратил внимание на начавшийся процесс реструктуризации международных отношений. Опытный османский чиновник, фанариот, чьи родственные связи обеспечили ему место среди реформаторов Османской империи, смотрел на конгресс в Берлине глазами аналитика и осознал его долговременные последствия.

Об авторах:

Румяна Михнева – доктор исторических наук, профессор Варненского свободного университета им. Черноризца Храбра. 9007 Болгария, г. Варна, к.к. Чайка, Янко Славчев 84. E-mail: r.mihneva@mail.ru

Валерий Колев – доцент, кандидат исторических наук Кафедры истории Болгарии, Исторического факультета Софийского университета им. Св. Климента Охридского. 1504 Болгария, г. София, бул. Царя-освободителя, 15. E-mail vkolev22@abv.bg

Благодарности:

Благодарим нашего коллегу из Института балканистики БАН проф. Орлина Сабева за ценные советы.

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

UDC: 327.5
Received: June 15, 2021
Accepted: July 10, 2021

Berlin Congress 1878 through the Eyes of Phanariot Alexander Karateodori Pashi

Rumyana Mihneva¹, Valery Kolev²
[DOI 10.24833/2071-8160-2021-4-79-7-25](https://doi.org/10.24833/2071-8160-2021-4-79-7-25)

¹ Varna Free University "Chernorizets Hrabar"

² Sofia University St. Kliment Ohridski

Abstract: The article contributes to the historical literature on the Berlin Congress; it shows the events of the summer of 1878 through the eyes of the diplomats of the defeated Ottoman Empire. The primary source for the article is the "Rapport" by the head of the Turkish delegation to the Congress, Alexander Karathéodori Pasha (1833–1906), a Phanariote with Greek and Bulgarian roots, the son of the personal physician of Sultan Mahmud II and the first Ottoman lawyer. He graduated from the Sorbonne law faculty with a doctorate in law. Until recently, Turkish historians wrote about him more as a diplomat. However, in recent years, they started to pay attention to his extraordinary fate, the history of his family, in which there were many famous Phanariots. "Rapport" only in recent years began to attract the attention of historians. The history of its creation is still unclear. It contains fascinating details of the relationship between representatives of a collective Europe at that time, the nature of their interests, and factors that outlined the fate of the Balkan region for decades to come. The report was written by Ottoman dignitaries when the Balkans finally became a "border area." Its author noticed how the "big players"'s geopolitical contradictions pushed the local people's historical evolution along the "path" of future cataclysms. Alexander Karathéodori Pasha conveys, through seemingly minor details, the discord between the representatives of the "collective West" and their desire to stop the attempts of the Ottoman Empire to follow the European paradigm of development. Against the background of the events in Berlin, Karathéodori eased the participants' desires to start the quickest part of the "Ottoman inheritance" and drew attention to the beginning process of restructuring of international relations. He viewed the Berlin Congress analytically and realized its long-term implications.

Keywords: Tanzimat, Alexander Karathéodori Pasha, Bulgaria, Liberation 1878, international relations, Berlin Congress, Ottoman diplomacy, phanariotes.

About the authors:

Rumyana Mihneva – Professor, Doctor of Science. Varna Free University "Chernorizets Hrabar". 9007 Bulgaria, Varna, k.k. Chaika, Yanko Slavchev 84. E-mail: r.mihneva@vfu.bg

Valery Kolev – Associate Professor, Ph.D. Sofia University St. Kliment Ohridski. 1504 Bulgaria, Sofia, Tsar-Liberator Boulevard, 15. E-mail: vkolev22@abv.bg

Acknowledgments:

We are grateful to our colleague from the Institute of Balkan Studies, Bulgarian Academy of Sciences, prof. Orlina Sabeva for valuable advice.

Conflict of interests:

The authors declare absence of conflicts of interest.

References:

Генов Г.П. 1940. *България и Европа. Сан-Стефано и Берлин*. 1878. София: Българска историческа библиотека. 68 с.

Христов Хр. 1968. *Освобождението на България и политиката на западните държави. 1876 – 1878*. София: БАН. 254 с.

Глени М. Реалният Берлински конгрес. *Либерален преглед*. С. 140-157. URL: <http://www.librev.com/index.php/2013-03-30-08-56-39/prospects/europe/2046-2013-05-02-13-01-04> (дата обращения 21.08.2021)

Јакшић Г. 1955. *Босна и Херцеговина на Берлинском конгресу*. Београд: Народна књига. 67 с.

Маринковић М. 2009. Тајни мемоар Александра Каратеодори-паше са Берлинског конгреса. *Историјски часопис*. Књ. LVIII. С. 249-260.

Протоколите на Берлинскиот конгрес. 1885. Прев. и изд. Т. Икономов. София: Книгопечатница Јанко С. Ковачев. 246 с.

Урумев В. 2014. Анализ на меѓународноправното положение на Вестфалскиот мирен договор од 1648 г. *Юридическо списание на НБУ*. №4. С. 56-76.

Акпınar М. 2010. *Bir Tanzimat Bürokrati ve Diplomati Olarak Aleksandır Karatodori Paşa, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi*. Konya. 270 p.

Акпınar М. 2015. Османли Харичије Назıрлары (1836-1922). *Social ve beşeri bilimler araştırmaları dergisi Güz*. Issue 35. P. 173–205.

Albin P. 1912. *Le traité de San Stefano (19 fevrier/3 mars 1878). Les grands traités politiques*. Recueil des principaux textes diplomatique depuis 1815 jusqu'à nos jours. Paris F.Alcan. P. 187-201.

Barreille B. 1917. Les Turcs. *Ce que fut leur empire, leurs comédies politiques*. Paris: Perrin et Co. 324 p. <https://archive.org/details/lesturcscequefut00bare/page/n5/mode/2up> (accessed 21.08.2021)

Barreille B. 1919. *Le Rapport secret sur le Congrès de Berlin adressé à la S. Porte par Karatheodory Pacha, premier plénipotentiaire ottoman, Paris*. Paris: Editions Bossard. 204 p. <https://archive.org/details/lerapportsecrets00bareuoft/page/6/mode/2up> (accessed 21.08.2021)

Bareilles B. 1918. *Constantinople. Ses cités franques et levantines*. Paris: Éditions Bossard. 422 p. <https://archive.org/details/constantinoplese00bare> (accessed 21.08.2021)

Çetin G. 2007. Le français dans le contexte des réformes en Turquie à la fin du XIXe siècle : un témoignage. *Documents pour l'histoire du français langue étrangère ou seconde*. 38/39. <http://journals.openedition.org/dhfiles/296> (accessed 21.08.2021)

Davison R. 1979. The Secret Report on the Congress of Berlin. *Tarih Dergisi*. №32. Mart Istanbul. P. 639-652.

Der Weg des Magdeburger Hugonotten Ludwig C.F. Detroit inspiriert noch immer. 2018. *Hugonotten*. 85(2). P. 51-71; Detroit (Detroy), Ludwig Carl Friedrich (Mehemed Ali-Pascha) <https://www.deutsche-biographie.de/ppn136192335.html#top> (accessed 21.08.2021)

Efe P. 2010. Bis Osmanlı bürocrati Aleksandır Karatodori pasa Tarih Vakfi. *Toplumsal Tarihi*. №193. P. 83-93.

Georgeon Fr. 1988. La montée du nationalisme turc dans l'État ottoman (1908-1914). Bilan et perspectives. *Revue del'Occident musulman et de la Méditerranée*. №50. Turquie, la croisée des chemins. P. 30-44. DOI : 10.3406/remmm.1988.2252 https://www.persee.fr/doc/remmm_0035-1474_1988_num_50_1_2252 (accessed 21.08.2021)

Georgiadou M. 2003. Expert Knowledge between Tradition and Reform. Carathéodorys: a Neo-Phanariot Family in 19 Century Constantinople. *Médecins et ingénieurs Ottomans a l'âge des nationalismes*. Meropi Anastassiadou-Dumont (dir.). Paris, Istanbul, IFEA, Maisonneuve & Larose, P. 243-294.

Hertslet Ed. 1878. *Preliminary Treaty of Peace between Russia and Turkey. Signed at San Stefano 19 February, 3 March 1878* (Translation). The Map of Europe by Treaty; which have taken place since the general peace of 1814. With numerous maps and notes. Vol. IV (1875-1891). London: Butterworths. P. 2672-2696.

Hotopp-Riecke M. Der Pascha aus Magdeburg: Reflexionen. *Irritationen*. <http://ikee.lib.auth.gr/record/126790/files/GRI-2011-6867.pdf> (accessed 21.08.2021); <https://paschamd.jimdo.com/biographien/mehmed-ali-pascha/> (accessed 21.08.2021)

Hurewitz J.C. 1961. Ottoman Diplomacy and the European State System. *The Middle East Journal*. XV/2. P. 141-152.

Jelavich B. 1973. *The Ottoman Empire, the Great Powers and the Straits Question 1870-1887*. Ontario: Indiana University Press. 209 p.

Mahmud Celâleddin Paşa. 1983. *Mir'at-ı Hakikat*. Haz: İsmet Miroğlu. İstanbul: Berekât. 739 s.

Mahoney J. 2000. Path Dependence in Historical Sociology. *Theory and Society*. 29(4). P. 507-548.

Medlicott W.N. 1938. *The Congress of Berlin and after: A Diplomatic History of the Near-Eastern Settlement, 1878-1880*. London: Methuen.. 442 p.

Methodieva M. 2021. *Between Empire and Nation: Muslim Reform in the Balkans*. Stanford University Press. 344 p.

Novotny A. 1957. *Quellen und Studien zur Geschichte des Berliner Kongresses 1878*, Bd. 1. Österreich, die Türkei und das Balkanproblem im Jahre des Berliner Kongresses, Graz-Köln. 16 s.

Beskrovnyj L.G. 1977. Ot San-Stefano do Berlinskogo kongressa (k diplomatičeskoj istorii rusko-turečkoj vojny 1877-1878 gg.) [From San Stefano to the Berlin Congress (on the Diplomatic History of the Russian-Turkish War of 1877-1878)]. *Mezhdunarodnye otnosheniya i vneshnyaya politika SSSR*. Moscow. P. 138-149. (In Russian)

Vinogradov V.N. 1991. *Britanskij lev na Bosfore* [The British Lion on the Bosphorus]. Moscow: Nauka. 167 p. (In Russian)

Vitol A.V. 1973. Turciya i evropejskie derzhavy na Berlinskom kongresse (1878 g.) [Turkey and the European Powers at the Berlin Congress (1878)]. *Tyurkologičeskij sbornik*. Moscow. P. 121-142. (In Russian)

Zadihin A.G., Nizovskij A.Yu. 2000. *Porohovoj pogreb Evropy* [The Powder Magazine of Europe]. Moscow: Veche. 416 p. (In Russian)

Zolotarev V.A. 2005. *Protivoborstvo imperij. Vojna 1877-1878 gg. apofeoz vostochnogo krizisa: Animi Fortitudo* [The Confrontation of Empires. The War of 1877-1878. The Apotheosis of the Eastern Crisis: Apimi Fortitudo]. Moscow. 567 p. (In Russian)

Narochnickij A.L. 1976. Balkanskij krizis 1875-1878 godov i velikie derzhavy [The Balkan Crisis of 1875-1878 and the Great Powers]. *Voprosy istorii*. №11. P. 32-52. (In Russian)

Rediger A.F. 1999. *Istoriya moej zhizni. Vospominaniya voennogo ministra* [The Story of my Life. Memoirs of the Minister of War]. T. I. Moscow: Kanon-press; Kuchkovo pole. 576 p. (In Russian)

Chernov S.L. 1984. *Rossiya na zavershayushchem etape Vostochnogo krizisa 1875-1878 gg.* [Russia at the Final Stage of the Eastern Crisis of 1875-1878.]. Moscow: MGU. 144 p. (In Russian)

Список литературы на русском языке

Бескровный Л.Г. 1977. От Сан-Стефано до Берлинского конгресса (к дипломатической истории русско-турецкой войны 1877-1878 гг.). *Международные отношения и внешняя политика СССР*. Москва. С. 138-149.

Виноградов В.Н. 1991. *Британский лев на Босфоре*. Москва: Наука. 167 с.

Витол А.В. 1973. Турция и европейские державы на Берлинском конгрессе (1878 г.). *Тюркологический сборник*. Москва. С. 121-142.

Задохин А.Г., Низовский А.Ю. 2000. *Пороховой погреб Европы*. Москва: Вече. 416 с.

Золотарев В.А. 2005. *Противоборство империй. Война 1877-1878 гг. апофеоз восточного кризиса: Animi Fortitudo*. Москва. 567 с.

Нарочницкий А.Л. 1976. Балканский кризис 1875-1878 годов и великие державы. *Вопросы истории*. №11. С. 32-52.

Редигер А.Ф. 1999. *История моей жизни. Воспоминания военного министра*. Т. I. Москва: Канон-пресс; Кучково поле. 576 с.

Чернов С.Л. 1984. *Россия на завершающем этапе Восточного кризиса 1875-1878 гг.* Москва: МГУ. 144 с.



Февральский кризис 1948 г. в Чехословакии в восприятии американских дипломатов и прессы

А.В. Зорин

Вятский государственный университет

В феврале 1948 г. в Чехословакии в результате политического кризиса был установлен коммунистический режим. Это событие завершило процесс оформления советского блока в Европе, оказав непосредственное влияние на формирование политики США по сдерживанию СССР. В статье рассматривается оценка данных событий американскими дипломатами, экспертами и журналистами, которая имела определяющее значение для формирования общественного мнения в США и выработки официальной реакции Вашингтона. Исследование базируется на архивных документах и материалах прессы. Автор приходит к выводу, что чехословацкий кризис 1948 г. вызвал в США значительный интерес и серьёзную реакцию. Эксперты и политические обозреватели рассматривали его в широком контексте нарастания советско-американских противоречий и нагнетания международной напряжённости. Несмотря на обозначившуюся ещё в 1947 г. опасность коммунистического переворота в Чехословакии, американские эксперты не смогли точно предсказать время наступления кризиса и его характер. Решительность левых сил, быстрота их реакции, отсутствие прямого советского вмешательства, а также слабое сопротивление демократических партий оказались неожиданностью для американских журналистов и дипломатов. В их среде утвердилось мнение, что действия коммунистов в ЧСР были проявлением советской экспансии, стремления Кремля закрепить свой контроль над Чехословакией. Несмотря на соблюдение внешних признаков легитимности, переход власти к левым силам трактовался как государственный переворот, завершивший оформление в ЧСР политического режима советского типа. Ограничившись осуждением этих событий, Вашингтон отказался от разрыва дипломатических отношений с Прагой и инициирования международного расследования. Правительство США признало произошедшие изменения, сосредоточившись на недопустимости повторения чехословацкого сценария в странах Западной Европы. Это оказало непосредственное влияние на продвижение Плана Маршалла и активизацию действий по сдерживанию коммунизма.

Ключевые слова: история Чехословакии, Февральский кризис 1948 г., американско-чехословацкие отношения, Л. Штейнгардт.

УДК 327.81

Поступила в редакцию: 20.05.2021 г.

Принята к публикации: 15.07.2021 г.

В феврале 1948 г. в Чехословацкой республике (ЧСР) в результате политического кризиса был установлен коммунистический режим. Это завершило оформление советской сферы влияния в Европе, оказав непосредственное влияние на политику США и эскалацию холодной войны.

В историографии внешней политики США и международных отношений февральские события в ЧСР рассматриваются главным образом в контексте советско-американских противоречий и генезиса холодной войны. Ряд американских исследователей (Д. Ергин, Г. и Дж. Колко), обращаясь к причинам кризиса, полагали, что на его возникновение косвенно повлияли непродуманные действия Вашингтона: не принимая во внимание интересы СССР в Восточной Европе и способствуя нагнетанию международной напряжённости, он вызвал ответные действия Москвы, подтолкнувшей чехословацких коммунистов к захвату власти (Kolko 1972: 191–194, 384; Yergin 1977: 236–237; 489).

У. Ульман высказал предположение, что вина за включение ЧСР в советскую сферу влияния во многом лежала на Госдепартаменте США, который не сумел сформулировать программу эффективных действий для противодействия левым силам (Ullmann 1978: 137). Эту точку зрения разделяет И. Лукеш, возложивший главную вину за провал американской политики на посла США в Праге Л. Штейнгардта и разведывательное сообщество, продемонстрировавших свою неспособность прогнозировать наступление кризисной ситуации (Lukes 2012: 185). Анализируя итоги кризиса, американские историки А. Теохарис, Дж. Гэддис, А. Оффнер и М. Хоган заключали, что он вызвал в США страх перед коммунистической экспансией, повлияв на принятие Плана Маршалла, милитаризацию и формирование блока НАТО. Вашингтон сделал всё возможное, чтобы не допустить повторения чехословацкого сценария в других странах (Theoharis 1970: 62, 222; Gaddis 1997: 47; Hogan 1998: 95–103; Offner 2002: 236, 240).

Эти взгляды распространены и в русскоязычной историографии. В частности, А.В. Потехин указывал, что американские эксперты и дипломаты не смогли спрогнозировать наступление Февральского кризиса, но правительство США использовало его итоги для сплочения западных стран (Потехин 1991: 67). По мнению И.И. Орлика, американцы предвидели возможность государственного переворота в ЧСР, но ничего не предпринимали для его предотвращения, опасаясь конфронтации с СССР (Орлик 1998: 99).

Февральский кризис 1948 г. в Чехословакии стал заметной вехой процесса советизации Восточной Европы. Как справедливо пишут современные российские авторы, этот кризис, вызвавший крайнее недовольство Вашингтона, на первых порах не привёл к жёсткому противодействию с американской стороны, не имевшей в то время в рассматриваемом регионе особых интересов, а из инструментов воздействия располагавшей лишь дипломатическими средствами (Встречными курсами 2014: 460). Утверждение советского контроля в ЧСР, как и

в некоторых соседних странах, «стало результатом трёх слагаемых»: признания западными союзниками СССР в конце Второй мировой войны правомерности претензий Москвы на создание вдоль своей западной границы «пояса безопасности», «решимости советского руководства поддержать эту претензию соответствующими материальными ресурсами и наличия в восточноевропейских странах соответствующей социально-политической базы для советизации» (Юнгблуд 2020: 71). В большинстве стран Восточной Европы все три названных ингредиента были налицо уже в 1945 г., хотя пропорции между ними постоянно менялись.

Ход и итоги февральских событий, а также реакция на них Вашингтона, достаточно полно исследованы. Но восприятие и трактовки этих событий со стороны американских СМИ и дипломатических кругов, ответственных за формирование общественного мнения и выработку официального курса США, изучены недостаточно. Данная статья, основанная на архивных документах и материалах прессы, призвана восполнить этот пробел.

Положение в ЧСР накануне Февральского кризиса

Обозначившийся после Второй мировой войны процесс становления коммунистических режимов в Восточной Европе вызывал серьёзную обеспокоенность в США. Ситуация в Чехословакии несколько отличалась от соседних стран. Ещё в годы войны её президент Э. Бенеш пропагандировал идею равной ориентации на Восток и Запад, которая была с энтузиазмом воспринята некоторыми американскими специалистами по международным отношениям, надевшимися на мирное сосуществование с СССР (Зорин 2017: 3, 15).

В 1945 г. в ЧСР была восстановлена многопартийная демократическая система. Однако по сравнению с довоенным периодом политическое пространство республики заметно сузилось. В стране остались только шесть больших партий, представлявших две национальные территории. Чехия была представлена коммунистической (КПЧ), социал-демократической (ЧСДП), национально-социалистической (ЧНСП) и народной (НП) партиями; Словакия – коммунистической (КПС) и демократической (ДП) партиями. В 1946 г. к ним добавились небольшие словацкие партии Свободы и Труда. Все они составляли коалицию Национального фронта (НФ) (Чехия и Словакия в XX в. 2005: 9, 27).

В мае 1946 г. в ЧСР прошли первые послевоенные парламентские выборы, принёсшие коммунистам 38% голосов. Вместе с поддержавшими их социал-демократами они контролировали 151 из 300 мест в Национальном собрании. В коалиционном правительстве, которое возглавил лидер КПЧ К. Готвальд, коммунисты получили девять мест из 26, включая портфели министров внутренних дел и информации. Во главе государства остался президент Э. Бенеш (Чехия и Словакия в XX в. 2005: 50). Таким образом, в стране установилось зыбкое равновесие левых и правых сил.

Несмотря на декларативную приверженность всех членов НФ единым целям и принципам, между настроенными на проведение радикальных социалистических реформ коммунистами и умеренными демократическими силами шла острая борьба. В области внешней политики ни одна из партий не оспаривала тезис о необходимости поддерживать тесные отношения с СССР, но по многим внутривластным вопросам позиции партий расходились.

Это вело к двойственному восприятию Чехословакии в США. На фоне ухудшения советско-американских отношений внешнеполитический курс Праги, усиление позиций коммунистов и начавшиеся в ЧСР социалистические реформы вызывали растущую обеспокоенность в Вашингтоне. Даже вывод в конце 1945 г. из страны Красной армии не рассеял этих опасений (Diamond 1947: 71).

В феврале 1946 г. У. Черчилль в своей Фултонской речи поместил Прагу за железный занавес, но признал, что в ней сохранялась демократия¹. Это отношение к ЧСР разделяли многие американские журналисты, политики и сотрудники Госдепартамента. Во время выборов 1946 г. американская пресса изображала Чехословакию процветающей страной с хрупкой политической системой, «немного застрявшей» между Востоком и Западом и находившейся под угрозой полного захвата власти коммунистами (Lukes 2012: 165)².

Интересы США в Праге представлял посол Л. Штейнгардт, полагавший, что ориентация Чехословакии на Москву носит вынужденный характер, а большинство населения и политической элиты ориентируются на Запад. Он надеялся на постепенное ослабление влияния коммунистов и победу демократических сил³.

В 1947 г. положение в ЧСР стало обостряться. Страна прошла через несколько кризисов, вызванных разногласиями между членами НФ относительно содержания проводимых реформ. Для американцев самым неприятным стал отказ Праги от участия в Плате Маршалла в июле 1947 г. Поскольку это было сделано под советским давлением, оказанным после первоначального согласия чехословацкого правительства на участие в обсуждении Плана Маршалла (Наринский 1998: 67, 83), в Вашингтоне признали, что ЧСР в области внешней политики фактически превратилась в советского сателлита⁴. После этих событий, а также в связи с произошедшим в соседней Венгрии захватом власти коммунистами, в Госдепартаменте всерьез стал обсуждаться вопрос об угрозе установления советского контроля над ЧСР.

В конце июля 1947 г. директор Европейского управления Госдепартамента Ф. Мэтьюз в сообщении заместителю госсекретаря Д. Ачесону указал на возможность коммунистического переворота в Чехословакии. Его причиной могло

¹ Черчилль У. 2014. *Никогда не сдаваться! Лучшие речи Черчилля*. Москва, С. 528–543.

² Velvyslanectví ČSR ve Washingtoně do MZV. 22. května 1946; 29. května 1946. *Archiv Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Politické zprávy 1918–1977 – Washington 1945–1946*.

³ Conference at the Embassy. Sept. 24, 1947. L. A. Steinhardt papers, 1929–1950. *Library of Congress, Manuscript Division (далее – LASP)*. Box 67.

⁴ Steinhardt to the Secretary of State. July 22, 1947. *Foreign Relations of the United States (далее – FRUS)*. 1947. Vol. IV. P. 223–226; Vedeler to Steinhardt. August 12, 1947. *LASP*. Box 54.

стать стремление Москвы установить полный контроль над этой страной из-за опасности ослабления в ней просоветских сил. В качестве возможной реакции на подобные действия он предлагал вынести вопрос на рассмотрение ООН и предоставить убежище чехословацким беженцам в американских оккупационных зонах (Ullman 1978: 134). Здесь просматривалась нарастающая с 1945 г. уверенность американцев в том, что в странах Восточной Европы коммунисты могли получить власть только путём силового захвата, по инициативе и при прямой поддержке СССР (Юнгблуд 1998: 72-73).

Так считали и американские дипломаты в Праге. Они полагали, что чехословацкие коммунисты отличались от своих единомышленников в других странах: большинство, включая Готвальда, были патриотами и уважали демократические порядки. По мнению Штейнгардта, они не стремились к насильственному захвату власти, но пошли бы на него по приказу Кремля⁵.

Во время разразившегося в ЧСР осенью 1947 г. очередного политического кризиса Штейнгардт в своём послании в Госдепартамент отмечал, что ему не до конца ясно, действуют ли коммунисты «более или менее самостоятельно или подчиняются жёстким указаниям из Москвы». Поэтому предсказать их дальнейшее поведение сложно. Посол не исключал, что они могли готовить «полноценный государственный переворот» и захватить власть в любой момент, если получат прямое указание из СССР⁶.

По мнению Штейнгардта, ситуация в ЧСР зависела прежде всего от состояния международных, и особенно советско-американских отношений. В конце сентября 1947 г. посол замечал, что если в Москве возобладают серьёзные опасения потерять Чехословакию, то в течение нескольких месяцев она может попасть под полный советский контроль⁷. Орудием Кремля будут коммунисты, но захват ими власти может произойти только с нарушением законных процедур и при внешней поддержке – интервенции Красной армии. Эти опасения передавали дипломату умеренные чехословацкие политики. На пике кризиса, в октябрь-ноябре 1947 г., некоторые из них даже задумывались об эмиграции и создании правительства в изгнании⁸. Однако к концу года ситуация нормализовалась.

Ключевой точкой в политической жизни ЧСР должны были стать парламентские выборы 1948 г. Хотя их точная дата не была назначена, предвыборная кампания фактически началась в конце 1947 г. Острота разногласий между левыми и правыми силами в ЧСР усиливалась. В начале ноября Штейнгардт впервые упомянул, что умеренные в частных разговорах рассматривали воз-

⁵ Bruins to the Secretary of State. June 6, 1947. *US National Archives and Records Administration* (далее – NARA). RG 59. CDF 1945–49. 860F.00B/6–647.

⁶ Steinhardt to the Secretary of State. September 23 and 30, 1947. NARA. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00/9-2347; 860F.00/9-3047.

⁷ Steinhardt to the Secretary of State. September 30, 1947. *FRUS*. 1947. Vol. IV. P. 234.

⁸ Steinhardt to the Secretary of State. October 21 and 29, 1947. NARA. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00/10-2147; 860F.00/10-2947.

можность отставки правительства и замены его «кабинетом экспертов» (беспартийных чиновников), а также проведения досрочных выборов для ослабления коммунистического влияния⁹.

По итогам осеннего кризиса Штейнгардт пришёл к выводу, что влияние коммунистов ослабло. Они не смогли добиться разгрома оппозиции, а руководство расколотой на две фракции ЧСДП перешло от её левого крыла во главе с просоветски и прокоммунистически настроенным З. Фирлингером к правому, лидером которого был Богумил Лаушман. Поэтому, как считал Штейнгардт, руководству компартии было необходимо принять принципиальное решение: по-прежнему придерживаться легальных методов борьбы или использовать средства, которые применялись в других странах Восточной Европы¹⁰. По мнению посла, коммунисты теряли популярность из-за ухудшения экономического положения (поскольку они инициировали социалистические реформы) и объединения умеренных партий. Готвальд поставил задачу завоевать 51% голосов на выборах, публично обвинил своих противников в реакционности и отверг возможность создания правительства экспертов¹¹.

В начале ноября 1947 г. Комитет политического планирования Госдепартамента во главе с Дж. Кеннаном представил госсекретарю Дж. Маршаллу доклад, в котором говорилось, что вскоре можно ожидать установления полного советского контроля над ЧСР. Причиной этого было стремление Москвы укрепить свою власть в Восточной Европе и ликвидировать угрозу проникновения демократических настроений вглубь советского блока. В докладе прогнозировалось скорое «уничтожение демократических институтов и закрепление власти коммунистов в Чехословакии»¹².

Таким образом, к началу 1948 г. в Госдепартаменте присутствовало явное ощущение, что вскоре Чехословакия должна попасть под полный советский контроль. Орудием Москвы должны были выступить коммунисты. Считалось, что захватить власть они могли лишь противозаконными средствами при поддержке извне. Американские специалисты, даже наиболее квалифицированные, не могли более или менее точно определить сроки данного акта. Не допускали они и того, что подобный переход власти произойдёт в рамках законных процедур. «Консенсус холодной войны» в американской администрации к тому моменту в основном уже был сформирован, правительство Трумэна идентифицировало себя как «оплот добродетели» в мире насилия и тирании, но «каркас доктрины сдерживания» ещё не был наполнен прогнозами и планами (Юнгблюд 2015: 131, 136). Случай Чехословакии демонстрирует это в полной мере.

⁹ Steinhardt to the Secretary of State. November 3, 1947. *FRUS*. 1947. Vol. IV. P. 239–240.

¹⁰ Steinhardt to the Secretary of State. November 20, 1947. *FRUS*. 1947. Vol. IV. P. 244.

¹¹ Bruins to the Secretary of State. December 2, 1947. *NARA*. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00B/12-247.

¹² Policy Planning Staff Report. November 6, 1947. *FRUS*. Vol. I. P. 770–777.

Американские дипломаты в Праге не видели непосредственных признаков скорой катастрофы. Все партии сосредоточены на подготовке к выборам, на которых коммунисты должны ослабить свои позиции – таков был прогноз умеренных, которому доверял американский посол. Штейнгардт полагал, что левые не будут выходить за рамки закона, используя опробованные методы пропаганды и запугивания противников. Лишь вмешательство Москвы могло подтолкнуть их к «иной стратегии». Опираясь на мнения умеренных политиков, американское посольство в Праге сообщало в Вашингтон, что ни население, ни президент Бенеш не поддержат незаконных действий левых сил¹³. В интервью американскому корреспонденту Д. Стюарту в конце декабря Готвальд заявил, что коммунисты не планируют захвата власти и не намериваются ликвидировать многопартийную систему даже в случае своей победы¹⁴.

Всё это позволило Штейнгардту отправиться в конце 1947 г. в длительный отпуск, из которого он вернулся только в феврале 1948 г. Обязанности по руководству посольством перешли к его заместителю Д. Брюинсу, разделявшему мнение Штейнгардта о положении в ЧСР. Правда, Брюинс указывал на обострение предвыборной политической борьбы. По его мнению, коммунисты действовали очень агрессивно, прибегая в пропаганде к антиамериканской риторике и превознося помощь Чехословакии со стороны СССР (осенью Москва начала поставку в ЧСР крупной партии зерна). Обращало внимание и заявленное коммунистами намерение «очистить» другие партии от «реакционных» элементов. Однако эта задача могла быть реализована только после их победы на выборах¹⁵.

В середине января Брюинс обратил внимание находившегося в США Штейнгардта на необходимость каким-то образом поддерживать прозападных политиков. Он полагал, что материальная помощь не могла конкурировать с советской, это неизбежно вызвало бы обвинения в использовании «дипломатии доллара». Чтобы показать, что американцы не забыли о Чехословакии, Брюинс предлагал заключить с Прагой соглашение о культурном сотрудничестве. Дипломат считал, что оно могло произвести серьёзный пропагандистский эффект без каких-либо материальных затрат – это был бы первый подобный договор с европейской страной¹⁶. Через неделю Брюинс повторил данный вопрос, предложив дополнить культурное соглашение торговым договором. Он просил посла в случае согласия как можно быстрее продвинуть эту идею в Вашингтоне, чтобы успеть до выборов¹⁷.

¹³ Bruins to the Secretary of State. December 22, 1947. *FRUS*. 1947. Vol. IV. P. 255; Bruins to the Secretary of State. December 23, 1947. *NARA*. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00B/12-2347; Bruins to the Secretary of State. January 9, 1948 // *NARA*. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00B/1-948.

¹⁴ Bruins to the Secretary of State. December 24, 1947. *NARA*. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00B/12-2447.

¹⁵ Bruins to the Secretary of State. January 9 and 12, 1948. *NARA*. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00B/1-948; 860F.00B/1-1448.

¹⁶ Bruins to Steinhardt. January 13, 1948. *LASP*. Box 56.

¹⁷ Bruins to Steinhardt. January 20, 1948. *LASP*. Box 56.

Несколько дней спустя Брюинс предложил третий шаг: ускорить работу над рассекречиванием и публикацией документов об участии армии США в освобождении Чехословакии в 1945 г. (соответствующий запрос был направлен в ноябре 1947 г.). Дело было в том, что коммунистическая печать обвиняла американцев в намеренном отказе от освобождения Праги, приведшем к гибели многих участников пражского восстания. Кроме того, такая трактовка предполагала, что Вашингтон уже в годы войны согласился с вхождением Чехословакии в советскую сферу влияния. Брюинс считал, что необходимо опубликовать документы максимум в течение месяца, чтобы доказать ложный характер обвинений и повлиять на выборы¹⁸.

Эти предложения Штейнгардт одобрил и 28 января Брюинс направил их на имя госсекретаря. В это время американский поверенный в делах в Праге ещё сохранял оптимизм. Он считал, что 80% чехов предпочитают коммунизму демократию. Но прозападным политикам необходима моральная поддержка со стороны США. Дипломат полагал, что реализация указанных мер даст «хорошую надежду на успех в сдерживании коммунизма на этом фронте»¹⁹.

Предложения Брюинса руководство Госдепартамента поддержало, но процесс их реализации затянулся. Госсекретарь Маршалл информировал Брюинса о намерении отправить в Прагу эксперта для обсуждения торгового договора в конце февраля. Переговоры могли начаться после возвращения Штейнгардта. Вместо соглашения о культурном сотрудничестве он предложил подписать декларацию о намерениях в сфере академического обмена²⁰. Что касается документов об освобождении ЧСР, их рассекречивание зависело от военного ведомства и с неизбежностью затягивалось. Американская бюрократическая машина не сумела оперативно реализовать ни одно из предложений Брюинса. Впрочем, даже их выполнение уже вряд ли могло повлиять на ход событий.

Формирование кризисной ситуации, её отражение в прессе и дипломатических сообщениях

В ЧСР назревал новый политический кризис. Между коммунистами и умеренными партиями возникло несколько серьёзных противоречий. Главным был вопрос о деятельности МВД. В конце января министр юстиции национальный социалист П. Дртина поднял на заседании правительства вопрос об использовании полицией провокаторов для фабрикации дел и преследования некоммунистических политиков. В распоряжении Дртины также оказались доказательства причастности членов КПЧ к предотвращённому в сентябре 1947 г. покушению на жизнь трёх членов правительства (были перехвачены посланные им в корб-

¹⁸ Bruins to Steinhardt. January 23, 1948. *LASP*. Box 56.

¹⁹ Bruins to the Secretary of State. January 28, 1948. *FRUS*. 1948. Vol. IV. P. 733–735.

²⁰ Marshall to Bruins. February 4, 1948. *FRUS*. 1948. Vol. IV. P. 735.

ках бомбы). Дртина потребовал создать комиссию для расследования работы МВД. По мнению Брюинса, хотя никаких доказательств о причастности руководства компартии к покушению не было, обвинения могли ослабить позиции коммунистов на выборах²¹.

13 февраля вопрос о деятельности МВД был вынесен на обсуждение кабинета в связи с новой проблемой. Стало известно о замене восьми старших офицеров полиции в Праге коммунистами. Члены правительства от некоммунистических партий и социал-демократы добились принятия постановления об отмене этих кадровых перестановок. Начался кризис. Брюинс упустил данный момент. 12 февраля он сообщил в Вашингтон, что на заседании правительства обсуждалась дата предстоящих выборов²². Его следующая телеграмма была отправлена только 18 февраля. Возможно, промедление было вызвано ожиданием скорого возвращения Штейнгардта, 11 февраля покинувшего США после хирургической операции; и 19-го посол должен был прибыть в Прагу.

За ситуацией в Чехословакии с нарастающим интересом следили американские журналисты. В Праге присутствовали сотрудники новостных агентств *Associated Press (AP)* и *United Press (UP)*. Самая влиятельная газета США *The New York Times* располагала в ЧСР собственным корреспондентом А. Россом. На протяжении почти двух недель их сообщения не сходили с первых страниц главных американских газет.

Протест некоммунистических партий Росс охарактеризовал как восстание против вовлечения полиции в политическую борьбу, что было новым явлением для стран «Восточного блока»²³. Поскольку постановление правительства не было исполнено, вопрос был вновь поднят 17 февраля. Однако Готвальд отказался обсуждать его, сославшись на отсутствие главы МВД коммуниста В. Носека из-за болезни. На следующий день, сообщая о произошедшем в Вашингтон, Брюинс впервые указал, что события приобрели характер кризиса. Он заметил, что в демократической прессе впервые стала открыто обсуждаться возможность создания правительства экспертов. Но коммунисты могли ускорить развитие событий, используя намеченный на 22 февраля съезд заводских советов. При поддержке рабочих компартия могла поставить вопрос о доверии правительству и потребовать формирования нового кабинета. Во втором сообщении, отправленном в этот же день, Брюинс вновь напомнил о своих рекомендациях для поощрения прозападных сил²⁴.

После нового отказа Готвальда обсуждать деятельность МВД на заседании правительства 18 февраля, вопрос был внесён в повестку на 20 февраля. Но си-

²¹ Bruins to Steinhardt. January 23, 1948. *LASP*. Box 56; Bruins to the Secretary of State. January 23, 1948 // NARA. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00/1-2348.

²² Bruins to the Secretary of State. February 11, 1948. *NARA*. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00/2-1148.

²³ Ross A. Non-communist Czech parties vote for curb on red police domination. *The New York Times*. February 14, 1948. P. 1.

²⁴ Bruins to the Secretary of State. February 18, 1948. *NARA*. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00/2-1848.

туация разворачивалась стремительно. Росс сообщал, что КПЧ призвала своих членов и сторонников быть готовыми «предотвратить любые подрывные намерения реакции и защитить интересы государства и нации». Она обвинила умеренные партии в намерении разрушить Национальный Фронт, создать новое правительство и помешать проведению свободных выборов. Умеренные выдвинули аналогичные обвинения в адрес коммунистов²⁵. Брюинс отмечал, что развитие событий во многом зависело от социал-демократов, которые могли поддержать либо коммунистов, либо умеренных²⁶.

19 февраля в Прагу прибыл заместитель министра иностранных дел СССР, бывший посол в ЧСР В.А. Зорин для проверки поставок советского зерна. Это вызвало опасения у американцев, которые провели параллель с визитом А.Я. Вышинского в Бухарест в 1945 г., после чего в Румынии было создано про-советское правительство. Озабоченность была тем выше, что визит Зорина не был объявлен заранее, а его статус не соответствовал вопросам, заявленным к обсуждению.

В тот же день в Прагу вернулся Штейнгардт. Приехав в посольство, он обнаружил записку министра иностранных дел Я. Масарика (беспартийного, прозападного политика), в которой общее положение дел было охарактеризовано коротко: «ситуация запутанная и непонятная» (Ullman 1978: 147). В дальнейшем Масарик устранился от участия в политической борьбе, сказавшись больным. Первые послания за подписью Штейнгардта были направлены в Вашингтон на следующий день после прибытия.

Зорин уже 19 февраля провёл переговоры с министром продовольствия правым социал-демократом В. Майером о поставках зерна. Затем он нанёс визит Масарику, которому заявил о негативном отношении Москвы к попыткам расколоть правительство НФ, и встретился с Готвальдом, посоветовав ему «быть потвёрже, не идти на уступки правым, не колебаться». 20 февраля он вновь встретился с Готвальдом и с генеральным секретарём КПЧ Р. Сланским. Советский дипломат рекомендовал своим собеседникам быть готовыми к более смелым действиям и даже возможности выхода за рамки правовых ограничений. Согласно советским документам, Готвальд был против этого из опасения ввода американских войск в случае попытки насильственного захвата власти. Но Зорин заверил премьера, что подобные опасения безосновательны. Готвальд в ответ просил провести передвижения советской армии на границах ЧСР, чтобы создать впечатление возможной интервенции. Эта просьба была отвергнута Москвой. С Бенешем Зорин не встречался (Мурашко 2008: 229, 231).

Таким образом, советское руководство подспудно подталкивало чехословацких коммунистов к активной борьбе за власть. Но прямой поддержки Готвальду обещано не было. Официальная позиция СССР была сообщена в газете

²⁵ Ross A. To 'safeguard' nation's interests. *The New York Times*. February 19, 1948. P. 1.

²⁶ Bruins to the Secretary of State. February 19, 1948. NARA. RG 59. CDF 1945-49. 860F.00/2-1948.

«Правда» 22 февраля: виновниками кризиса объявлялись связанные с «международной реакцией» умеренные партии (Мурашко 2008: 229, 231).

Всего этого Штейнгардт не знал и мог только догадываться о том, чем занимался Зорин в Праге. 20 февраля в своём первом сообщении в Госдепартамент посол обрисовал произошедшие за неделю события и признал, что «Национальный фронт трещал по швам». Его члены не могли договориться сразу по нескольким принципиальным проблемам. Все некоммунистические партии заняли твёрдую позицию в вопросе о полиции. Для Готвальда их требования были неприемлемы. По информации Штейнгардта, намеченный на 22 февраля съезд заводских советов мог потребовать проведения радикальных реформ и выступить с прямым осуждением некоммунистических партий. Посол полагал, что в данной ситуации давать любой прогноз развития событий рискованно. Визит Зорина Штейнгардт считал признаком повышенного интереса Москвы к ситуации в ЧСР и роли в ней компартии²⁷.

Росс в то же время информировал американцев о том, что чехословацкое правительство «технически находилось в состоянии кризиса»; вопрос о деятельности МВД предстояло решить на заседании 20 февраля; в парламенте образовался новый расклад сил не в пользу коммунистов²⁸. Корреспондент *UP* уверенно заявлял, что кризис был спровоцирован последними²⁹.

Развитие кризиса

20 февраля, не добившись выполнения своих требований, 12 членов правительства от ЧНСП, НП и ДП подали заявления об отставке³⁰. Как отмечал Штейнгардт, их целью было добиться роспуска кабинета и замены его состава до намеченного на 22 февраля съезда. Однако социал-демократы не поддержали данную акцию. Из 26 членов правительства 14 остались на своих постах, включая Масарика. Это позволяло избежать его роспуска, заменив выбывших министров. КПЧ обратилась к населению с призывом поддержать Готвальда и «сплотить свои ряды в прочном Национальном фронте». Как замечал Штейнгардт, развитие ситуации зависело от Бенеша, который мог либо принять отставки, либо настоять на возвращении министров в правительство хотя бы до выборов. Посол полагал, что только президент мог удержать коммунистов в рамках закона. Но действия последних зависели от распоряжений Кремля³¹.

Вскоре Готвальд категорически отказался работать с ушедшими в отставку министрами и потребовал их замены. В поддержку этих требований 21 февраля в центре Праги был организован огромный митинг. На нём премьер-министр

²⁷ Steinhardt to the Secretary of State. February 20, 1948. *NARA*. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00/2-2048.

²⁸ Ross A. Czech reds push industrial change. *The New York Times*. February 20, 1948. P. 6.

²⁹ Czech reds end truce in cabinet. *The Washington Post*. February 19, 1948. P. 1.

³⁰ Steinhardt to the Secretary of State. February 20, 1948. *NARA*. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00/2-2048.

³¹ Steinhardt to the Secretary of State. February 21, 1948. *NARA*. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00/2-2148.

призвал создавать по всей стране комитеты действия для борьбы с реакцией. Как оперативно сообщал Росс, президент Бенеш отказался выполнить требования коммунистов, но заявил Готвальду, что не одобрит ни кабинет экспертов, ни правительство без коммунистов, ни правительство исключительно из коммунистов. Росс заключал, что это «закрыло путь к полной тоталитарной авантюре», которую теперь было возможно осуществить только вооружённым путем. Корреспондент полагал, что коммунисты могли добиться формирования нового состава правительства при поддержке социал-демократов³².

В сообщении *AP* отмечалось, что 20 февраля ЧСР «достигла перекрёстка между Востоком и Западом». Отставка министров означала распад коалиционного правительства и начало сражения между коммунистами и другими партиями за контроль над Чехословакией³³.

Вышедшая в этот же день редакционная статья в *New York Times* трактовала события в ЧСР более радикально. По мнению автора, за ними стоял СССР, стремившийся «поставить под свою железную пяту» последнюю независимую страну Восточной Европы. Коммунисты действовали по привычному сценарию: подавление свободы слова, мобилизация профсоюзов, вытеснение из правительства независимых партий, требование создать новый Национальный фронт, обвинения против внутренней «реакции» и западных «империалистов». Получив контроль над полицией, они развернули террор и готовились к финальному захвату власти. На их пути стоял лишь президент Бенеш. Неясной оставалась и позиция социал-демократов, которые могли склонить чашу весов в любую сторону³⁴.

В редакторской колонке *Washington Post* констатировала, что отказ Бенеша исполнить требования коммунистов был героическим, но уже бессмысленным жестом, поскольку страна, скорее всего, уже наводнена подготовленными в Москве профессиональными революционерами³⁵.

Тем не менее, 22 февраля Штейнгардт сообщил в Вашингтон, что в ближайшие два-три дня коммунисты не выйдут за рамки законных ограничений³⁶. Его прогноз оказался не вполне верным. На состоявшемся в тот день съезде заводских советов делегаты поддержали действия КПЧ. Были выдвинуты требования об углублении социалистических реформ. Как отмечал Росс, их выполнение полностью уничтожило бы частное предпринимательство и независимую прессу. Готвальд решительно отверг возможность возвращения ушедших в отставку министров в правительство, что означало курс на исключение из политической жизни лидеров умеренных партий³⁷.

³² Ross A. Benes is opposing totalitarian rule in Czech deadlock. *The New York Times*. February 22, 1948. P. 1.

³³ Czechoslovak coalition rule breaks down. *The Washington Post*. February 21, 1948. P. 1.

³⁴ Red pattern in Prague. *The New York Times*. February 22, 1948. P. 24.

³⁵ Czechoslovakia's Turn. *The Washington Post*. February 23, 1948. P. 8.

³⁶ Steinhardt to the Secretary of State. February 22, 1948. NARA. RG 59. CDF 1945–49. 860F.002/2-2248.

³⁷ Ross A. Czech reds warn of strike to gain nationalization aim. *The New York Times*. February 23, 1948. P. 1.

На следующий день Штейнгардт информировал Госдепартамент об ухудшении ситуации в Праге. Столичной полиции были выданы винтовки, она начала патрулировать улицы. Свободный выезд за границу был запрещён (требовалось получение разрешения в МВД). По призыву Готвальда по всей стране стали создаваться новые органы власти – комитеты действия. Радио перешло под полный контроль коммунистов³⁸.

Как писал Росс, в столице наблюдалась высокая активность населения. Во многих местах происходили массовые дебаты, но насилия или беспорядков не было. Вооружённая полиция охраняла важные объекты. Бенеш призывал к спокойствию и возобновлению сотрудничества в рамках НФ. Но среди некоммунистических деятелей уже распространялась паника; слышались заявления о скором падении республики и демократии³⁹. Согласно сообщению АР, нормальная жизнь в Праге была парализована⁴⁰.

Вечером 23 февраля в столице ЧСР был создан Центральный комитет действия во главе с профсоюзным лидером коммунистом А. Запотоцким. 24 февраля была проведена всеобщая забастовка в поддержку требований съезда заводских советов. Но во время встречи с Готвальдом 24 февраля Бенеш вновь отказался удовлетворить его требования (Марьина 2013: 416–417).

24 февраля Штейнгардт направил в Госдепартамент пять телеграмм с описанием хода событий. Посол сообщал о преследовании оппозиционных деятелей: по обвинению в заговоре были арестованы несколько членов ЧНСП; в штаб-квартиру партии нагрянула полиция; подавших в отставку министров не допускали в их кабинеты. По дошедшим до посла слухам, левые социал-демократы под руководством Фирлингера захватили штаб-квартиру партии. Коммунисты подготовили новый список членов правительства⁴¹.

В тот же день Госдепартамент предупредил военное командование США в Германии о возможности скорого наплыва чехословацких беженцев. Тем, кто представлял «информационно-пропагандистскую ценность», рекомендовалось предоставить помощь и убежище⁴². Эта просьба была выполнена.

25 февраля на первой полосе *New York Times* Росс сообщил, что контроль над органами власти во всей Чехословакии захватили комитеты действий, которыми управляют коммунисты, изгоняющие оппозиционно настроенных сотрудников. К коммунистам присоединились левые социал-демократы. Всё это выглядело как революция. Готвальд представил Бенешу список нового правительства, в который были включены малоизвестные представители двух умеренных партий, считавшиеся «оппортунистами». Росс заключал, что

³⁸ Steinhardt to the Secretary of State. February 23, 1948. NARA. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00/2-2348.

³⁹ Ross A. Czech communists charge opponents plan. *The New York Times*. February 24, 1948. P. 1.

⁴⁰ Unsigned. Charge National Socialist plot. *The Washington Post*. February 24, 1948. P. 1.

⁴¹ Steinhardt to the Secretary of State. February 24, 1948. NARA. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00/2-2448.

⁴² Marshall to USPOLAD. February 24, 1948. NARA. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00/2-2448.

большинство граждан ЧСР не понимало, что действительно происходит в стране⁴³.

В сообщении *UP* говорилось, что компартия захватила контроль почти над всеми сферами жизни Чехословакии с помощью полиции, профсоюзов и комитетов действия. Единственным, кто ещё оставался не под их контролем, был президент Бенеш. Произошедший «бескровный переворот» ознаменовал собой самое радикальное изменение положения в Чехословакии с момента гитлеровской агрессии. ЧСР стала седьмой страной Восточной Европы, где коммунисты получили абсолютную власть⁴⁴.

25 февраля Бенеш принял отставку министров умеренных партий. Готвальд огласил состав нового кабинета. Штейнгардт оперативно сообщил об этом в Вашингтон⁴⁵. В ответном послании Маршалл запросил у посла его оценку произошедшего. Отдельно он просил выяснить, оказывалось ли давление на Бенеша⁴⁶. Последнее представляло интерес для общей трактовки событий и выработки позиции относительно признания свершившегося перехода власти.

Тем временем, посол продолжал в мрачных красках сообщать подробности событий в Праге. По его словам, люди выглядели апатичными и угрюмыми, на улицах было полно вооружённой полиции и членов комитетов действий с красными повязками. Вовсю шли аресты некоммунистических лидеров по обвинениям в антигосударственном заговоре. Направлявшаяся к Бенешу студенческая демонстрация была разогнана полицией. Как заключал Штейнгардт, президент уже не мог повлиять на ситуацию. Соппротивление некоммунистических сил заканчивалось⁴⁷.

Похожую информацию приводил Росс. Он также сообщал, что Бенеш решил на принятие отставок из-за массовых акций и опасности начала гражданской войны. В состав нового правительства должны войти 13 коммунистов, четыре социал-демократа, пять членов других партий, два беспартийных (включая Масарика). При этом коммунисты получили не только МВД, но и Министерство юстиции. Было запрещено проводить собрания «реакционных элементов» и распространять любые печатные материалы, направленные против правительства Готвальда или народа⁴⁸.

Характеризуя состав нового правительства, Штейнгардт назвал членов некоммунистических партий «марионетками, квислингами и ничтожествами»⁴⁹. *New York Times* от 25 февраля, помимо статьи Росса, содержала и иные материалы о Чехословакии. В одной из статей приводилась подробная биография Гот-

⁴³ Ross A. Czech reds seizing power. *The New York Times*. February 25, 1948. P. 1.

⁴⁴ Hold on unions and police used in taking over national life. *The Washington Post*. February 25, 1948. P. 1.

⁴⁵ Steinhardt to the Secretary of State. February 25, 1948. NARA. RG 59. CDF 1945–49. 860F.002/2-2548.

⁴⁶ Marshall to Praha. February 25, 1948. NARA. RG 59. CDF 1945–49. 860F.002/2-2548.

⁴⁷ Steinhardt to the Secretary of State. February 25, 1948. NARA. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00/2-2548.

⁴⁸ Ross A. Reds forge issue. *The New York Times*. February 26, 1948. P. 1.

⁴⁹ Steinhardt to the Secretary of State. February 27, 1948. NARA. RG 59. CDF 1945–49. 860F.003/2-2748.

вальда. Автор припомнил его первое выступление в чехословацком парламенте в 1929 г., когда тот пообещал «свернуть шеи» своим противникам. Статья заключала, что его восприятие как умеренного политика, уважающего демократические процедуры, было ошибочным, а независимых от Москвы коммунистов вообще не существовало⁵⁰. В другой статье заявлялось, что в результате коммунистической революции Чехословакия превратилась в тоталитарное полицейское государство⁵¹.

Обозреватели *Washington Post* братья Олсопы констатировали, что коммунисты, отказавшись от конституционных методов, захватили власть с помощью открытого и безжалостного применения силы, установив в Чехословакии тоталитарную диктатуру. Они считали, что попытки остановить этот процесс уже бессмысленны. Можно надеяться только на ослабление советского влияния в долгосрочной перспективе⁵².

26 февраля Штейнгардт представил в Госдепартамент первый анализ произошедших событий. Он полагал, что в ЧСР произошёл тщательно подготовленный коммунистами «безжалостный захват власти», которому придавалась лишь внешняя видимость легитимности. Посол заявлял, что Готвальд использовал «гитлеровские методы давления» на президента Бенеша. Штейнгардт рекомендовал госсекретарю выступить с резким заявлением. По мнению посла, США могли использовать экономическое давление: приостановить американский экспорт в ЧСР, блокировать перевозки чехословацких товаров через американскую оккупационную зону в Германии. Поскольку 80% внешней торговли страны было ориентировано на Запад, опасность краха чехословацкой экономики могла «оказать отрезвляющее воздействие» на упоённых победой чехословацких коммунистов. Посол верил, что ещё было можно «притормозить» наступление левых сил, помочь возрождению оппозиции и повлиять на действия Бенеша⁵³.

Официальная реакция Вашингтона

В Госдепартаменте начали прорабатывать свою реакцию 24 февраля. В тот день состоялась встреча заместителя директора Европейского управления Л. Томпсона с представителями французского посольства. Американский дипломат заметил своим собеседникам, что действия чехословацких коммунистов не стали сюрпризом для Вашингтона. Их причиной он считал боязнь потерпеть поражение на парламентских выборах. В текущей ситуации Госдепартамент руководствовался двумя соображениями: не поощрять никаких «ложных надежд

⁵⁰ Unsigned. Gottwald threat to Beneš is cited. *The New York Times*. February 26, 1948. P. 3.

⁵¹ Unsigned. Red triumph in Prague. *The New York Times*. February 26. P. 22.

⁵² Alsop J., Alsop S. Matter of fact: crisis in Prague. *The Washington Post*. February 25, 1948. P. 13.

⁵³ Steinhardt to the Secretary of State. February 26, 1948. *FRUS*. 1948. Vol. IV. P. 738–741.

среди некоммунистов» в ЧСР и избегать выводов о безнадёжности сложившегося положения. В ведомстве рассматривали возможность вынести обсуждение кризиса на заседание ООН как случай косвенной агрессии со стороны СССР. Пока же Госдепартамент намеревался подготовить ноту протеста или публичное заявление⁵⁴.

В направленном Госдепартаментом посольствам США в Париже и Лондоне сообщении констатировалось, что захват коммунистами власти в Чехословакии не изменяет её прежней зависимости от СССР. Вашингтон прежде всего беспокоили последствия этих событий для стран Западной Европы. Посольствам предлагалось обсудить возможность совместных действий с Францией и Великобританией⁵⁵.

25 февраля американские дипломаты в Париже и Лондоне провели встречи с министрами иностранных дел Ж. Бидо и Э. Бевином соответственно. Бидо поддержал совместные действия, но указал на нежелательность выступать с протестом в Праге, чтобы не ослабить позицию Бенеша⁵⁶. Бевин полагал, что обычный протест лишь продемонстрирует бессилие западных государств, но поддержал совместные действия⁵⁷.

Бидо предложил выступить с трёхсторонним заявлением, проект которого был представлен американцам. С небольшими изменениями он был одобрен и опубликован от имени трёх правительств 26 февраля. В нём отмечалось следующее: события в Чехословакии ставили под угрозу принципы свободы, которым привержены все демократические страны; с помощью искусственно и преднамеренно спровоцированного кризиса приостановлено свободное функционирование парламентских институтов и установлена замаскированная однопартийная диктатура под прикрытием коалиционного национального правительства; последствия этого могут быть катастрофическими для чехословацкого народа⁵⁸.

Штейнгардт посчитал такое заявление недостаточным. В своём сообщении в Госдепартамент от 27 февраля он повторил, что коммунисты использовали вооружённую силу и запугивание, а Бенеш действовал под принуждением⁵⁹. Посол вновь предложил госсекретарю приостановить все грузоперевозки в Чехословакию через американскую оккупационную зону в Германии. По его мнению, это должно было привести новое правительство в чувство. Любая умеренная реакция была бы воспринята как признак слабости⁶⁰.

Но Госдепартамент отклонил это предложение. В личном письме Штейнгардту сотрудник Центрально-европейского отдела Госдепартамента Г. Веделер

⁵⁴ Memorandum of conversation. February 24, 1948. NARA. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00/2-2448.

⁵⁵ Marshall to Caffery; Marshall to Douglas. February 24, 1948. 860F.00/2-2448. FRUS. 1948. Vol. IV. P. 736.

⁵⁶ Bonbright to the Secretary of State. February 25, 1948. NARA. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00/2-2548.

⁵⁷ Douglas to the Secretary of State. February 25, 1948. FRUS. 1948. Vol. IV. P. 737.

⁵⁸ Bonbright to the Secretary of State. February 25, 1948. FRUS. 1948. Vol. IV. P. 737–738.

⁵⁹ Steinhardt to the Secretary of State. February 27, 1948. NARA. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00/2-2748.

⁶⁰ Steinhardt to the Secretary of State. February 28, 1948. FRUS. 1948. Vol. IV. P. 742.

8 марта сообщал, что после рассмотрения множества альтернативных предложений Госдепартамент решил ограничиться умеренной реакцией, чтобы не спровоцировать начало «экономической войны на широком фронте против всего Восточного блока»⁶¹. Вашингтон уже не мог повлиять на исход ситуации в ЧСР.

В последующие дни американское посольство и корреспонденты в Праге сообщали о развитии событий и подробностях кризиса. Штейнгардт пытался выяснить, был ли Бенеш осведомлён о готовящейся отставке министров. Масарик сообщил послу, что президента проинформировали об этом заранее, но глава президентской канцелярии Я. Смутны утверждал обратное. По его словам, Бенеш уступил Готвальду, лишь получив информацию о возможной советской интервенции. По словам Смутны, президент опасался преследований со стороны коммунистов, но не намерен эмигрировать. Масарик сообщил, что здоровье Бенеша значительно ухудшилось, он сломлен и вряд ли проживёт долго. Министр объяснял своё согласие остаться в правительстве стремлением смягчить действия коммунистов и помочь своим друзьям избежать репрессий. В сообщении Госдепартаменту посол заключил, что у Бенеша не было иного выбора, кроме капитуляции⁶².

Другие сообщения из Праги рисовали картину разворачивавшегося коммунистического террора. По информации Росса, были запрещены иностранные издания, а местная пресса полностью подчинена министерству информации. Готвальд призывал к углублению чисток по всей стране⁶³. 28 февраля Штейнгардт доложил в Вашингтон о самоубийстве Дртины⁶⁴. Эта информация, однако, оказалась ложной. Через два дня посол сообщил, что Дртина жив, но находится в больнице в критическом состоянии⁶⁵. По словам посла, сотрудники полиции избили при задержании бывшего министра Майера⁶⁶. В посольство поступала информация о массовых арестах и чистках в политических партиях. ЧНСП была реорганизована, ДП распущена⁶⁷.

Одним из главных последствий кризиса для американских дипломатов в Праге стала стремительная потеря прежних контактов и связей. Любое общение с ними стало рискованным для чехословацких граждан. Те, кто раньше открыто симпатизировал США, подвергались преследованиям. Большинство боялись даже здороваться с американцами в общественных местах или встречаться с ними в частном порядке. Сотрудники посольства также избегали контактов,

⁶¹ Vedeler to Steinhardt. March 8, 1948. *LASP*. Box 57.

⁶² Steinhardt to the Secretary of State. February 27, 1948. *FRUS*. 1948. Vol. IV. P. 741; Steinhardt to the Secretary of State. March 3, 1948. *NARA*. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00/3-348.

⁶³ Ross A. Premier Gottwald calls for uncompromising attack. *The New York Times*. February 29, 1948. P. 1.

⁶⁴ Steinhardt to the Secretary of State. February 28, 1948. *NARA*. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00/2-2848.

⁶⁵ Steinhardt to the Secretary of State. March 2, 1948. *NARA*. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00/2-348.

⁶⁶ Steinhardt to the Secretary of State. February 27, 1948. *NARA*. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00/2-2748.

⁶⁷ Steinhardt to the Secretary of State. March 4, 1948. *NARA*. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00/3-448.

опасаясь скомпрометировать своих друзей. Посол заключал, что Чехословакия всего за неделю стала такой же закрытой страной, как СССР⁶⁸.

Главе Центрально-европейского отдела Госдепартамента Дж. Биму посол писал, что в чехословацкой пропаганде США превратились во «врага №1», любой контакт с сотрудниками посольства мог быть основой для обвинений в шпионаже⁶⁹. В письме Веделеру Штейнгардт отмечал, что редко видел людей такими испуганными. Впрочем, Штейнгардту, который провёл три года в Москве, ситуация казалась знакомой. Он прогнозировал скорое начало «фантастических процессов» и преследований людей за то, что они были замечены вместе с американцами⁷⁰.

10 марта стало известно о гибели Масарика⁷¹. Первой реакцией Штейнгардта была поддержка версии о самоубийстве. Посол сообщил в Вашингтон, что в последнее время Масарик подвергался жёсткой критике близких друзей за согласие остаться в правительстве. Но его смерть произвела огромный эффект – Масарик сразу превратился в мученика⁷². В тот же день госсекретарь Маршалл на пресс-конференции назвал сложившуюся в Европе ситуацию «очень, очень серьёзной». Он связал смерть Масарика с дальнейшим исчезновением свободы и установлением коммунистического террора в ЧСР⁷³.

Международный аспект кризиса

10 марта представитель Чехословакии при ООН Я. Папанек выступил на пресс-конференции в Нью-Йорке. Он заявил, что во время переворота в Праге были замечены советские военные, Масарик был арестован, Бенеш изолирован, Красная армия готовилась к интервенции⁷⁴. В связи с этим Папанек объявил правительство в Праге незаконным и обратился к Генеральному секретарю ООН с просьбой передать вопрос о захвате власти в ЧСР на рассмотрение Совета Безопасности. Обращение поддержало правительство Чили и вопрос был включен в повестку⁷⁵.

Сразу после демарша Папанека Прага отозвала его полномочия и назначила нового представителя. Папанек отказался добровольно оставить свой пост⁷⁶. Это поставило Вашингтон в трудную ситуацию. В итоге он признал нового

⁶⁸ Steinhardt to the Secretary of State. March 2, 12 and 17, 1948. NARA. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00/2-348; 860F.00/3-1248; 860F.00/3-1748.

⁶⁹ Steinhardt to Beam. March 31, 1948. *LASP*. Box 95.

⁷⁰ Steinhardt to Vedeler. March 23, 1948. NARA. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00/3-2348.

⁷¹ Steinhardt to the Secretary of State. March 10, 1948. NARA. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00/3-1048.

⁷² Steinhardt to the Secretary of State. March 10, 1948. *FRUS*. 1948. Vol. IV. P. 743–744.

⁷³ Communist seizure of power in Czechoslovakia. 1948. *The Department of State bulletin*. Vol. XVIII. № 455. Washington. P. 381.

⁷⁴ Unsigned. March 10, 1948. NARA. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00/3-1048.

⁷⁵ Editorial note. *FRUS*. 1948. Vol. IV. P. 745.

⁷⁶ Unsigned. March 10, 1948. NARA. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00/3-1048.

представителя. В отношении рассмотрения чехословацкого вопроса в ООН США заняли выжидательную позицию.

17 марта президент США Г. Трумэн, выступая в Конгрессе, заявил о «трагической смерти чехословацкой республики», тем самым осудив коммунистический переворот. Это послание было направлено, прежде всего, на внутреннюю аудиторию. Президент удачно использовал угрозу коммунизма, обвинив СССР в противодействии работе ООН и «уничтожении независимости и демократического характера целого ряда стран Восточной и Центральной Европы», чтобы стимулировать принятие Конгрессом Плана Маршалла⁷⁷.

19 марта Госдепартамент направил инструкции представителю США в ООН, предписывая избегать острых споров по чехословацкому вопросу. Поскольку ничего для изменения ситуации в ЧСР уже сделать было нельзя, предлагалось сосредоточиться на достижении политического эффекта в других странах, где существовала угроза коммунизма. Госдепартамент распорядился поддержать резолюцию, призывающую к созданию комиссии ООН по расследованию чехословацкого вопроса, но не выступать с прямыми обвинениями против СССР. Американскому представителю предписывалось не навязывать другим членам позицию США и не выступать за участие в расследовании⁷⁸.

Как писал в письме Штейнгардту Веделер, главная проблема при представлении дела в ООН состояла в получении доказательств⁷⁹. Штейнгардт (бывший адвокат) рекомендовал относиться к этому как к судебному процессу, выявляя косвенные свидетельства коммунистического заговора. По его мнению, Прага не согласилась бы на создание комиссии по расследованию или на её прибытие в страну. Можно опираться лишь на показания чехословацких эмигрантов и находившихся в стране иностранцев. Но доказать причастность СССР представлялось проблематичным⁸⁰. При этом Штейнгардт признавал, что подобные доказательства были бы ненадёжными, поскольку большинство беженцев мало знали о происходившем, либо ничего не могли доказать. «Как адвокату, мне кажется глупым начинать дело без достаточных доказательств», – заключал он⁸¹. Чехословацкий вопрос обсуждался в Совете безопасности ООН в марте и апреле. Во время итогового голосования 24 мая проект резолюции о создании комиссии был отклонён из-за вето СССР⁸².

⁷⁷ *U.S. Congress. Congressional record*. 1948. Vol. 94. Part 3. Washington, P. 2997; Truman H. 1956. *Memoirs*. Garden City, P. 241.

⁷⁸ Thorp to the United States Mission at the United Nations. March 19, 1948. *FRUS*. 1948. Vol. IV. P. 745–747.

⁷⁹ Vedeler to Steinhardt. March 23, 1948. *LASP*. Box 57.

⁸⁰ Steinhardt to Vedeler. April 1, 1948. *NARA*. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00/4-148

⁸¹ Steinhardt to Vedeler. May 21, 1948. *NARA*. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00/5-2148.

⁸² Editorial note. *FRUS*. 1948. Vol. IV. P. 745; Memorandum of conversation. April 12, 1948. *FRUS*. 1948. Vol. I. Part 1. P. 172.

Итоги кризиса

Важным элементом процесса закрепления новой власти в Чехословакии должны были стать парламентские выборы. 16 марта Штейнгардт сообщил, что правительство назначило их на конец мая. Посол сомневался в их демократическом характере. В сложившихся условиях оппозиция не могла провести эффективную предвыборную кампанию, а свободное выражение мнения стало невозможным. Для коммунистов это был лишь способ легализовать захват власти. Штейнгардт полагал, что даже если будет подано много голосов против коммунистов, правительство просто объявит нужные ему результаты⁸³.

Решение выдвинуть единый список кандидатов от НФ подтвердило прогноз посла. Он замечал, что это превращало выборы в референдум. В качестве альтернативы люди могли выбрать лишь пустой бюллетень, но не кандидатов от оппозиции. Кроме того, новая процедура фактически ликвидировала тайную подачу голосов, а пропаганда заранее объявляла голосующих против списка предателями⁸⁴. По прогнозам посла, коммунисты могли допустить не более 6% пустых бюллетеней. В действительности же, по оценкам посольства, две трети избирателей не поддерживали новый режим⁸⁵.

В итоге количество испорченных и пустых бюллетеней, как сообщал в Госдепартамент Штейнгардт со ссылкой на «надёжный источник», таковых было 40%. Посол ожидал, что правительство огласит цифру в 11–12%⁸⁶. Официальные данные, опубликованные 9 июня, полностью сошлись с прогнозами Штейнгардта: единый список получил 89%. Посол уверенно констатировал, что результаты были сфальсифицированы, и, по меньшей мере, 40% избирателей голосовали против⁸⁷.

Завершающим актом стало принятие новой Конституции и отставка Бенеша. Слухи о его решении уйти с поста президента циркулировали с конца февраля. По информации Штейнгардта, Бенеш оставался в должности, поскольку не мог покинуть страну и хотел затруднить работу правительства. Было известно и об ухудшении его здоровья. 13 мая Штейнгардт сообщил, со слов Смутны, что президент очень болен, он собирался не подписывать новую Конституцию и уйти в отставку после выборов по состоянию здоровья⁸⁸.

29 мая Штейнгардт нанёс визит Бенешу по случаю его дня рождения как дуайен дипломатического корпуса. По мнению посла, президент мог ясно мыс-

⁸³ Steinhardt to the Secretary of State. March 16 and 31, 1948. *NARA*. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00/3-1648; 860F.00/3-3148.

⁸⁴ Steinhardt to the Secretary of State. May 18 and 20, 1948. *NARA*. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00/5-1848; 860F.00/5-2048.

⁸⁵ Steinhardt to the Secretary of State. May 21, 1948. *NARA*. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00/5-2148.

⁸⁶ Steinhardt to the Secretary of State. May 31, 1948. 860F.00/5-3148. *FRUS*. 1948. Vol. IV. P. 755–756; Steinhardt to the Secretary of State. June 7, 1948. *NARA*. RG 59. CDF 1945–49. 860F.00/6-748.

⁸⁷ Steinhardt to the Secretary of State. May 31, 1948. 860F.00/5-3148. *FRUS*. 1948. Vol. IV. P. 755–756.

⁸⁸ Steinhardt to the Secretary of State. May 13, 21 and 25, 1948. *NARA*. RG 59. CDF 1945–49. 860F.001Benes/5-1348; 860F.00/5-2148; 860F.001Benes/5-2748.

лить и говорить, но его физическое и психическое состояние значительно ухудшилось. Бенеш осудил методы коммунистов и выразил сомнение в результатах выборов. Он заявил, что не одобрит конституцию⁸⁹. 7 июня он подал в отставку⁹⁰. Его преемником был избран Готвальд. В сентябре Бенеш скончался. Это была последняя точка в процессе перехода власти к коммунистам.

* * *

Американские специалисты предвидели переход власти в Чехословакии к коммунистам и установление в ней советского режима. Вопрос состоял лишь в сроках и форме, а также возможности его предотвращения. Штейнгардт и Брюинс полагали, что коммунистическому давлению возможно противостоять в рамках установленных конституционных норм. Они допускали, что коммунисты могли получить власть, лишь прибегнув к силе и используя поддержку СССР. Американские дипломаты не ожидали кризиса до намеченных на 1948 г. парламентских выборов.

Февральский кризис, его содержание, сроки и последствия стали неожиданностью в США. Поражала быстрота совершившегося перехода власти и то, что он произошёл с относительным соблюдением правовых норм. Американская сторона не располагала подтверждёнными сведениями о явном советском вмешательстве, что не позволяло вынести вопрос на международное обсуждение как случай агрессии. Присутствовавшие в Праге американцы были поражены организованностью и масштабами действий коммунистов. Удивление вызывала неспособность умеренных политиков и президента Бенеша сопротивляться давлению.

Американские газеты достаточно полно информировали общественность о разворачивавшихся событиях. Их симпатии находились на стороне умеренных партий, а виновниками кризиса они считали коммунистов, чья победа трактовалась как государственный переворот, ассоциировалась с победой СССР и установлением тоталитарного режима.

В Вашингтоне приняли свершившиеся события как факт, уделив первостепенное внимание их влиянию на положение в других странах. Чехословакия стала восприниматься как коммунистическое полицейское государство, находящееся под полным контролем Москвы.

⁸⁹ Steinhardt to the Secretary of State. May 29, 1948. *FRUS*. 1948. Vol. IV. P. 754–755.

⁹⁰ Steinhardt to the Secretary of State. June 7, 1948. *NARA*. RG 59. CDF 1945–49. 860F.001Benes/6-748.

Об авторе:

Артём Викторович Зорин – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и политических наук Вятского государственного университета. E-mail: arzor@list.ru

Благодарности:

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта № 19-18- 00501.

Конфликт интересов:

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

UDC 327.81

Received: May 20, 2021

Accepted: June 15, 2021

The Czechoslovak Crisis of 1948 in the Perception of American Diplomats and Media

A.V. Zorin

[DOI 10.24833/2071-8160-2021-4-79-26-50](https://doi.org/10.24833/2071-8160-2021-4-79-26-50)

Vyatka State University

Abstract: In February 1948, during the political crisis in Czechoslovakia was established a communist regime. This event completed the formation of the Soviet bloc in Europe. It directly impacted the US containment policy towards the USSR and the escalation of the Cold War. Based on archival documents and newspapers articles, the research studies these events through their perception by American media and diplomats, whose opinions and interpretations had great and decisive importance for the US public opinion and its government official reaction. The author concludes that the Czechoslovak crisis of 1948 aroused considerable interest and severe reaction in the United States. It was considered as a part of growing Soviet-American contradictions and international tension. Despite the fears of a communist coup in Czechoslovakia expressed back in 1947, American experts could not accurately predict the onset time of the crisis and its nature. The rapidity of the crisis, the Communist's reaction, and decisiveness, lack of direct Soviet intervention, as well as the absence of democratic resistance, became a surprise for American journalists and diplomats. They believed that the communist takeover was a manifestation of Soviet expansion and the Kremlin's desire to consolidate its control over all Eastern Europe. Despite the external legitimacy, the transfer of power to the left forces was interpreted as a coup d'état that finalized the establishment of the totalitarian regime in Czechoslovakia. Nevertheless, the US government refused to sever diplomatic relations with Prague and to initiate an international investigation. Washington found no direct evidence of Soviet intervention. It had to accept the changes in Czechoslovakia, focusing its forces on the inadmissibility of this scenario in Western Europe. The crisis directly influenced the adoption of the Marshall Plan and the intensification of the containment policy.

Keywords: history of Czechoslovakia, February crisis of 1948, American-Czechoslovak relations, L. A. Steinhart.

About the author:

Artem V. Zorin – Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Department of History and Political Sciences, Vyatka State University. 610000, 36 Moskovskaya str., Kirov, Russia.
E-mail: arzor@list.ru

Acknowledgements:

The research was carried out with the financial support of the RGNF within the framework of the scientific project No. 19-18 - 00501.

Conflict of interest:

The author declares the absence of conflict of interest.

References:

Chekhya i Slovakiya v XX veke: ocherki istorii. V 2 knigakh. Kniga 2. 2005. (Czechia and Slovakia in the Twentieth Century: Essays on History. In 2 books. Book 2). Moscow: Nauka. 558 p. (In Russian)

Diamond W. 1947. *Czechoslovakia between East and West.* London: Stevens and sons ltd. 258 p.

Gaddis J. L. 1997. *We Now Know: Rethinking Cold War History.* Oxford: Clarendon Press. 425 p.

Hogan M. J. 1998. *A Cross of Iron. Harry S. Truman and the Origins of the National Security State, 1945–1954.* Cambridge: Cambridge University Press. 525 p.

Kolko J., Kolko G. 1972. *The Limits of Power. The World and United States Foreign Policy; 1945–1954.* New York: Harper & Row. 820 p.

Lukes I. 2012. *On the Edge of the Cold War: American Diplomats and Spies in Postwar Prague.* New York: Oxford University Press. 280 p.

Offner A. *Another Such Victory. President Truman and the Cold War, 1945–1953.* Stanford: Stanford University Press. 626 p.

Yergin D. 1977. *Shattered Peace. The Origins of the Cold War and the National Security State.* Boston: Houghton Mifflin Company. 526 p.

Mar'ina V. V. 2013 *Vtoroj prezident Chekhoslovakii Edvard Benesh: politik i chelovek. 1884–1948* [The Second President of Czechoslovakia, Edvard Beneš: a Politician and a Person. 1884–1948]. Moscow: Indrik. 488 p. (In Russian)

Murashko G. P. 2008. Sovetskij Soyuz i obshchestvennye transformacii v Vostochnoj Evrope v 1940–1950e gody. Nekotorye diskussionnye voprosy v sovremennoj rossijskoj i cheshskoj istoriografii [The Soviet Union and Social Transformations in Eastern Europe in the 1940s – 1950s. Some Controversial Issues in Contemporary Russian and Czech Historiography]. *Vlast' i obshchestvo: neproste vzaimootnosheniya (Strany Central'noj i YUgo-Vostochnoj Evropy v XX veke)* (Power and Society: Difficult Relationships (Countries of Central and South-Eastern Europe in the XX Century)). Moscow: Institut slavyanovedeniya RAN. P. 219–239. (In Russian)

Narinskij M. M. 1998. Sovetskij Soyuz, Chekhoslovakiya i plan Marshalla [Soviet Union, Czechoslovakia and the Marshall Plan]. *Fevral' 1948. Moskva i Praga. Vzglyad cherez polveka* (February 1948. Moscow and Prague. A Glance in Half a Century). Moscow: Institut slavyanovedeniya i balkanistiki RAN. P. 67–83. (In Russian)

Orlik I. I. 1998. Chekhoslovackij krizis v fevrale 1948 g. i politika zapadnyh derzhav [The Czechoslovak Crisis in February 1948 and the Policy of the Western Powers]. *Fevral' 1948. Moskva i Praga. Vzgl'yad cherez polveka* (February 1948. Moscow and Prague. A Glance in Half a Century). Moscow: Institut slavyanovedeniya i balkanistiki RAN. P. 99–106. (In Russian)

Potekhin A. V. 1991. *Diplomatiya SShA v Vostochnoi Evrope 1945-1950 gg.* [US Diplomacy in Eastern Europe 1945-1950]. Kiev: Naukova dumka. 138 p. (In Russian)

Theoharis A. G. 1970. *The Yalta Myths. An Issue in U.S. Politics, 1945–1955.* Columbia: University of Missouri press. 263 p.

Ullmann W. 1978. *The United States in Prague, 1945–1948.* New York: Boulder. 205 p.

Vstrechnymi kursami: politika SSSR i SShA na Balkanakh, Blizhnem i Srednem Vostoke v 1939-1947 gg. 2015. Pod red. V. T. Yungblyud. [Counter Courses: the Policy of the USSR and the USA in the Balkans, Near and Middle East in 1939–1947. Ed. by V. T. Yungblyud]. Kirov, Vyatka State Humanities University Publ. 510 p. (In Russian)

Yungblyud V. T. 2015. Novaya i ochen' nuzhnaya paradigma: «Dlinnaya» telegramma Dzh. F. Kennana kak al'ternativa printsipam Yalty [New and Needed Paradigm: J. F. Kennan's "Long" Telegram as an Alternative to the Yalta Principles]. *Vekhi amerikanskoi istorii. Sbornik statei.* (Milestones in American History. Collection of Articles). Moscow, IVI RAN. P. 117–138. (In Russian)

Yungblyud V. T. 1998. «Obrazy Rossiiskoi imperii» i vneshnepoliticheskoe planirovanie v SShA v 1944-1945 gg. [«Images of the Russian Empire» and foreign policy planning in the United States in 1944-1945]. *SShA: ekonomika, politika, ideologiya.* №6. P. 66–78. (In Russian)

Yungblud V.T. 2020. Mirovoi porjadok 1945 g. – prozess s “otkrytym” prodolzheniem [The 1945 World Order – Process with «Open» Continuation]. *MGIMO Review of International Relations.* 13(4). P. 52-79. (In Russian) DOI:10.24833/2071-8160-2020-4-73-52-79

Zorin A. V. 2017. Ofitsial'nyi vizit prezidenta E. Benesha v SShA v 1943 g. [Official visit of President E. Benes to the USA in 1943]. *Voprosy istorii.* №5. P. 3–15. (In Russian)

Список литературы на русском языке:

Встречными курсами: политика СССР и США на Балканах, Ближнем и Среднем Востоке в 1939–1947 гг. 2014. Под ред. В.Т. Юнгблюда. Киров: Издательство Вятского государственного гуманитарного университета. 510 с.

Зорин А. В. 2017. Официальный визит президента Э. Бенеша в США в 1943 г. *Вопросы истории.* №5. С. 3–15.

Марьина В.В. 2013. *Второй президент Чехословакии Эдвард Бенеш: политик и человек. 1884–1948.* Москва: Индрик. 488 с.

Мурашко Г.П. 2008. Советский Союз и общественные трансформации в Восточной Европе в 1940–1950-е годы. Некоторые дискуссионные вопросы в современной российской и чешской историографии. *Власть и общество: непростые взаимоотношения (Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в XX веке).* Москва: Институт славяноведения РАН. С. 219–239.

Наринский М. М. 1998. Советский Союз, Чехословакия и план Маршалла. *Февраль 1948. Москва и Прага: взгляд через полвека.* Москва: Институт славяноведения и балканистики РАН. С. 67–83.

Потехин А. В. 1991. *Дипломатия США в Восточной Европе 1945–1950 гг.* Киев: Наукова думка. 138 с.

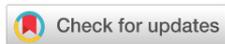
Орлик И. И. Чехословацкий кризис в феврале 1948 г. и политика западных держав. *Февраль 1948. Москва и Прага. Взгляд через полвека*. Москва: Институт славяноведения и балканистики РАН. С. 99–106.

Чехия и Словакия в XX веке: очерки истории. В 2 книгах. Книга 2. 2005. Москва: Наука. 558 с.

Юнгблюд В. Т. 2015. Новая и очень нужная парадигма: «Длинная» телеграмма Дж. Ф. Кеннана как альтернатива принципам Ялты. В. Т. Юнгблюд. *Вехи американской истории*. Сборник статей, посвященный 70-летию доктора исторических наук, профессора В. В. Согрина. Москва: ИВИ РАН. С. 117–138.

Юнгблюд В. Т. 1998. «Образы Российской империи» и внешнеполитическое планирование в США в 1944-1945 гг. *США: экономика, политика, идеология*. № 6. С. 66–78.

Юнгблюд В.Т. 2020. Мировой порядок 1945 г. – процесс с «открытым» продолжением. *Вестник МГИМО-Университета*. №4. С. 52-79.



Институциональные особенности интеграции земель Речи Посполитой в состав Российской и Австрийской империй

П.А. Барахвостов

Белорусский государственный экономический университет

В настоящей работе на примере распада Речи Посполитой и вхождения её частей в Российскую и Австрийскую империи анализируется проблема последствий реформирования геополитического пространства, а именно, имплантации осколков распавшегося социума в различные социальные системы. Данный процесс рассматривается в рамках институционального подхода. Выявлены механизмы слияния социумов – донора и реципиента. К их числу следует отнести унификацию – встраивание новых территорий в свою административно-территориальную и правовую систему. Действие данного механизма охватывает несколько стадий: первичную, предполагающую создание гибридных институтов (встраивание новой власти в традиционно существующие властные структуры); вторичную (начало перестройки институциональных трансплантатов с параллельным созданием институтов промежуточного типа); завершающую (окончательная перестройка институтов, в том числе, властных структур, по новому образцу). Важный инструмент унификации – сословная гомогенизация или приведение сословного деления на новых землях в соответствие с таковым для принимающего социума. Кроме того, среди механизмов интеграции выделены: обусловленность (положительная, или стимулирующая, для расширения социальной базы проводимых преобразований и отрицательная, или принуждающая, для подавления недовольства их противников), замещение (встраивание в высшее сословие новых земель представителей принимающего социума), социализация (осуществление мероприятий, направленных на социокультурную гомогенизацию образовавшейся социальной системы). Тем не менее, несмотря на сходство используемых механизмов, показано различие интеграционных моделей Российской и Австрийской империй, обусловленное особенностями государственного устройства и национального состава населения империй, а также географического положения и уровня экономического развития присоединённых земель. Особенностью российского подхода, направленного на выравнивание новых земель с внутренними областями империи, явилась одновременность трансплантации экономических, политических и социокультурных институтов с сохранением ряда существовавших ранее экономических институтов. Австрийская же политика характеризовалась ограниченностью и асимметричностью трансплантации институтов на земли провинции

УДК: 325.3

Поступила в редакцию: 27.05.2021 г.

Принята к публикации: 21.07.2021 г.

(внедрением лишь ряда политических институтов), вследствие чего регион оказался в положении внутренней колонии. Обсуждается значение выбранной модели интеграции для последующего развития присоединённых земель.

Ключевые слова: геополитическое пространство, империя, институциональная матрица, базовые институты, редистрибутивная экономика, рыночные отношения, кризис, точка бифуркации, интеграция, институциональные трансформации.

Сложные процессы турбулентности в современном мире, интеграционные/дезинтеграционные явления, межэтнические конфликты, попытки пересмотра послевоенных границ актуализировали проблему исследования последствий реформатирования геополитического пространства, а именно, институциональных трансформаций в социальных системах в результате вызванного им социального коллапса.

Следует отметить, что, несмотря на различное толкование этого концепта, как правило, институты рассматриваются как устойчивые модели взаимодействий в социуме, определённые способы действий и суждений, существующих в обществе вне отдельно взятого индивидуума (Дюркгейм 1995). По определению Д. Норта, это «правила игры», которые структурируют социальное действие (North 1990).

Институты достаточно стабильны, но не являются застывшей конструкцией (Peters 2019). Институциональные изменения могут быть постепенными (Mouzelis 2008; Knudsen 2008; Mahoney, Thelen 2010; Brousseau, Raynaud 2011) и быстрыми. Зачастую они основываются на опыте других стран. Для описания подобных заимствований введён термин «трансплантация» (Полтерович 2001). В литературе, как правило, исследуются заимствования экономических и/или политических институтов (Singh 1970; Ostrom 1982; Lehmbruch 2000; Полтерович 2001; Буркальцева 2016; Dowd, Pak, Bensimon 2013). При этом выявлены различные трансплантационные технологии: модификация трансплантата, позволяющая облегчить его адаптацию к новой среде (La Porta et al. 1998); локальная трансплантация в пределах не всей страны, а её отдельного региона (Roland 2000); заимствование института из прошлого страны-донора на любой стадии его развития (Stiglitz 1998); «построение последовательности промежуточных институтов, соединяющих начальную конструкцию с финальной, соответствующей трансплантируемому институту» (Полтерович 2001).

Однако социальная система представляет собой целостное интегрированное образование, сформированное *тремя взаимосвязанными и взаимозависимыми подсистемами* (экономической, политической и социокультурной). Это обуславливает необходимость рассмотрения институциональной трансплантации как сложного процесса, охватывающего все указанные сферы.

Наибольший интерес представляет слабо изученный случай институциональных трансплантаций, связанных с интеграцией социума (или его части) в другую социальную систему после социального коллапса. Зачастую данный случай связан с опытом различных стран в имперский период государственности, когда процесс слияния осуществлялся при необходимости сохранения мегагосударства, что вынуждало согласовывать интересы многих субъектов общественных отношений. Исследование механизмов и инструментов такого слияния, сущность которого заключается в осуществлении комплекса институциональных трансплантаций на новых территориях, направленных на гомогенизацию образовавшейся социальной системы, позволяет анализировать возможные последствия (в том числе, отдалённые) геополитических катастроф, прогнозировать возможные пути развития интеграционных структур и цивилизаций, оценивать оптимальные пути управления социумом с многонациональным и многоконфессиональным составом населения. Указанная проблема анализируется в настоящей работе на примере распада Речи Посполитой и вхождения её частей в Российскую и Австрийскую империи. Данный кейс приобретает особую актуальность в связи с реанимацией идеи «возвращения в Европу», активно популяризуемой в ряде восточноевропейских стран и увязываемой с необходимостью пересмотра исторической роли Речи Посполитой и значения её разделов. Свидетельствами тому являются: присутствие данных исторических событий в политических дебатах в Польше (среди политиков существует почти единодушное мнение о том, что пространственная структура голосования в значительной степени определяется её разделами¹) и Литве (возрождение дискурса о Великом княжестве Литовском (ВКЛ) в связи с необходимостью обоснования вступления в ЕС и НАТО); празднование 3 мая 2021 г. 230-й годовщины принятия Конституции Речи Посполитой, отмеченное встречей в Варшаве президентов Литвы, Латвии, Эстонии, Украины и Польши, в ходе которой была подписана совместная декларация «о поддержке и сотрудничестве со странами, стремящимися к демократическим переменам»².

Следует отметить, что в разделе Речи Посполитой участвовал ещё один актор – Королевство Пруссия, бывшее, в отличие от России и монархии Габсбургов, моноэтническим и моноконфессиональным. При этом одна часть новых земель вошла в состав государства лишь на короткий срок (около десятилетия), что не позволило Пруссии в полной мере осуществить трансфер институтов на новые территории и считать интеграцию завершённой и успешной. Оставшееся же в её составе после наполеоновских войн Великое герцогство Познанское было очень маленьким (по численности населения в середине XIX в. почти в четыре

¹ Grosfeld I., Zhuravskaya E. The past in the Polish present. 23.03.2013. *Voxeu*. URL: <https://voxeu.org/article/past-polish-present> (accessed 21.08.2021)

² Eastern European presidents mark Polish-Lithuanian constitution. 04.04.2021. *Euractiv*. URL: https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/eastern-european-presidents-mark-polish-lithuanian-constitution/ (accessed 21.08.2021)

раза меньше, чем Царство Польское и Галиция, которые по этому показателю были приблизительно равны). Поэтому прусский подход к решению интеграции был крайне простым – частичное выселение местного населения из новоприобретённых территорий с последующей ассимиляцией оставшихся. Данная интеграционная модель не может быть использована при присоединении более крупных осколков распавшегося социума. Вследствие незавершённости интегрирующих институциональных трансформаций на землях, приобретённых Пруссией, и неприемлемости модели, используемой ею после наполеоновских войн, данный кейс не будет рассматриваться в настоящей работе.

Методологической основой исследования является исторический неоинституционализм. В процессе подготовки работы привлечены данные Полного собрания законов Российской империи (ПСЗРИ)³ и Архива Беларуси⁴.

Сущность интеграции в результате перестроения геополитического пространства

Общество представляет собой целостное интегрированное образование (Т. Парсонс), в котором взаимосвязанные и взаимозависимые подсистемы (экономическая, политическая, социокультурная) *равнозначны* (И. Валлерстайн). Каждая из них выполняет определённую функцию: экономическая сфера обеспечивает получение ресурсов для жизнедеятельности социума, политическая – осуществляет его организацию для достижения поставленных целей, социокультурная – создаёт фундамент коммуникативного взаимодействия и обеспечивает сохранение общественных норм при смене поколений. Регулировать функционирование всей системы позволяет сложная институциональная структура, в которой можно выделить «остов» – образующие *институциональную матрицу* базовые институты, которые задают направленность коллективных и индивидуальных действий. Д. Норт определяет матрицу как «комплекс взаимосвязанных правил и неформальных ограничений, совокупность которых задаёт *экономическую деятельность*» (North 1990: 129). Более широко матрица понимается С. Кирдиной, которая трактует её как *триединую*, «устойчивую, исторически сложившуюся систему базовых институтов, регулирующих взаимосвязанное функционирование основных общественных сфер – экономической, политической и идеологической» (Кирдина 2014: 67).

В институциональной матрице *одновременно*, взаимодействуя между собой по принципу «доминантность – компенсаторность» (Polanyi 1977: xix), присутствуют два основных типа институтов: редистрибутивные и рыночные. Редистрибутивная модель предполагает институты редистрибуции (аккумуля-

³ Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ) URL: http://nlr.ru/e-res/law_r/content.html (дата обращения: 21.08.2021)

⁴ Архив Беларуси. URL: <http://archives.gov.by/home> (дата обращения 21.08.2021)

ции – согласования – распределения), общественно-служебную собственность, общественный/служебный труд, жалобы в виде обратной связи, институты унитарно-централизованного политического устройства и элементы коммунарного мировоззрения. Рыночная модель – это отношения купли-продажи, частная/личная собственность, наёмный труд, прибыль как институт обратной связи, федеративные начала государственного устройства, элементы индивидуалистического мировосприятия. Рыночные и редистрибутивные институты зародились в глубокой древности, прошли долгий путь эволюции, в результате которой осуществлялась их трансформация в соответствии с технологическими укладами и условиями окружающего мира (Бессонова 2019). Доказательства изменчивости базовых институтов приведены, например, в трудах А. Юрганова (Юрганов 1998). Даже наиболее устойчивые *социокультурные* институты – нормы, ценности, стандарты поведения человеческих групп – «в ходе общественного развития утрачивают свою функцию в общем контексте сложившихся в системе взаимозависимостей. Процессы подобного рода дефункционализации – это реальность, которую мы можем наблюдать всякий раз при смене общественных фигураций» (Элиас 2002: 356).

Каждое государство имеет собственную институциональную матрицу (North 1990), которая с учётом особенностей исторического развития преломляет общие закономерности для различных человеческих сообществ, что подтверждено на исследовании обширного эмпирического материала (Бессонова 2019; Елисеев 2011; Лубский 2016; Ксензова, Ксензов 2013; Никитенко, Солодовников 2008; Нестеренко 2002). При этом, как показано в трудах Г. Бокля, К. Виттфогеля, Ф. Гизо, Т. Жюффруа, доминирующий тип зависит от «первичных» институциональных форм, сложившихся при возникновении социума.

Однако в определённые исторические моменты (например, при реформировании геополитического пространства) общества могут приобретать свойства текучести и проницаемости, что затрудняет становление и воспроизводство жёстких инвариантных институциональных форм (Бауман 2008). Предельным случаем подобного состояния «институциональной подвижности» является точка бифуркации, для которой институциональная матрица становится неопределённой, а вся конструкция – зыбкой и неустойчивой, что может привести к гибели социума и последующему его восстановлению в результате слияния (интеграции) с другим обществом. Этот процесс заключается во встраивании распавшейся социальной системы (или её части) в институциональную матрицу социума-реципиента. При этом неопределённость институциональной матрицы распавшегося социума обуславливает возможность интеграции его осколков в системы с различным типом доминирующих базовых институтов. Исследованию данной проблемы и посвящена настоящая работа.

Интеграционная модель Российской империи в отношении присоединённых белорусских земель Речи Посполитой

В результате переформатирования геополитического пространства в конце XVIII в. и разделов Речи Посполитой⁵ в состав Российской империи вошло Великое княжество Литовское, включавшее, в частности, территорию современной Беларуси. Следует отметить, что в Российской империи существовало множество форм управления «окраинными» территориями и, соответственно, множество подходов к их интегрированию в единое государство. Метод, использованный в данном случае, основывался на видении разделов Речи Посполитой российской стороной как справедливом и легитимном возвращении в состав единого Русского государства отнятых земель Древней Руси: «отторжённая возвратилась». Соответственно, целью являлась полная интеграция, гомогенизация новых территорий с внутренними землями России.

Следует отметить, что институциональная матрица ВКЛ, характеризующаяся достаточно сильными институтами двух типов (дистрибутивным принципом формирования земельной собственности и, в то же время, (прото)федеративным принципом государственного устройства, значительным влиянием торгового капитала (особенно в западных областях), наличием большого числа крупных латифундий и определяющим влиянием магнатов на функционирование государственных органов⁶) существенно отличалась от российской матрицы с доминирующими редистрибутивными институтами. Это определило особенности слияния, его постепенный, плавный и всеобъемлющий характер. Какие же механизмы задействовала при этом Российская империя?

Прежде всего, *механизм унификации* – включение новых территорий в свою административно-территориальную и правовую систему. Инструментом реализации данной задачи явилась реформа территориального устройства, в ходе которой были образованы западные губернии (Псковская и Могилевская (1772); Минская, Изяславская и Брацлавская (1773); Виленская и Слонимская (1796)) и определены основы их управления – по общеимперскому образцу.

Унификация осуществлялась поэтапно, что объяснялось пограничным положением присоединённых земель, а также политической нестабильностью вследствие сильного влияния польского населения и католической церкви. Первичная стадия, совпавшая с периодом правления Екатерины II, предполагала создание гибридных институтов – встраивание российской власти в традиционно существующие властные структуры. Императрица гарантировала личные права и свободы вероисповедания местному населению, личную и имуществен-

⁵ Речь Посполитая – (квази)федеративное государство, образованное Королевством Польским и ВКЛ.

⁶ Архивы Беларуси. URL: <http://archives.gov.by/home/tematicheskie-razrabotki-arhivnyh-dokumentov-i-bazy-dannyh/istoricheskie-sobytiya/arhivnye-dokumenty-i-materialy-6/yuridicheskie-osnovy-upravleniya-belorusskimi-zemlyami-v-xiv-xviii-vekah-istoriya-voprosa-obzornaya-spravka> (дата обращения: 21.08.2021).

ную безопасность помещикам, принёсшим присягу российской власти. Вначале даже допускалось осуществление суда по литовским законам и на своём языке в том случае, если рассматриваемые дела не затрагивают интересы империи.

Однако проводимая российскими властями политика не снизила политическую турбулентность на новых землях, и уже в 1773 г. были учреждены губернские и провинциальные земские суды и регламентирован порядок их деятельности, введён запрет на обращение православных в католичество и униатство⁷, что свидетельствует о начале перестройки гибридных институтов. Несмотря на декларирование привилегий, указом 1778 г. местное управление на новых территориях было перестроено по российскому образцу^{8,9}.

Важным шагом на первичном этапе стало введение налоговых требований к различной собственности, для чего было предписано произвести перепись облагаемого имущества¹⁰. Собственность польской короны переходила в состав дворцовых волостей, имущество уехавших за границу дворян зачислялись в категорию экономических земель.

В белорусских губерниях учреждались конторы таможи и почты, вводились русские меры и весы.

Второй этап правовой унификации новых территорий связан с правлением Павла I. Инструментом его политики стала реформа административно-территориального устройства, в соответствии с которой в конце 1796 г. западные губернии отнесены к особым по правам и привилегиям¹¹, что можно рассматривать как отступление от прежнего курса, возврат к политике уступок. Восстанавливалась обособленность гражданского и уголовного суда на этих землях от общеимперского¹². Указом 1797 г. подтверждалось и гарантировалось «свободное вероисповедание в польских губерниях греко-российской церкви»¹³.

Вместе с тем появляется институт *военного губернаторства*, введённый на смену наместничеству, что означало милитаризацию системы управления.

Указанные шаги свидетельствуют о колебаниях российской власти: выборе Павлом I пути *медленных* институциональных трансплантаций, попытке создания промежуточных институтов, причём не только политических, но и социокультурных, и, в то же время, ужесточении контроля за их внедрением на приобретённых территориях. Это было обусловлено соображениями безопасности: восстание Т. Костюшко продемонстрировало недовольство достаточно широких слоёв населения, что, учитывая приграничное положение белорусских земель, представляло определённую угрозу империи.

⁷ ПСЗРИ-1. Т. 19. № 13921, 13922.

⁸ ПСЗРИ-1. Т. 20. 14692, 14693.

⁹ ПСЗРИ-2. Т. 42. № 44312.

¹⁰ ПСЗРИ-1. Т. 19. № 13865.

¹¹ ПСЗРИ-1. Т. 24. № 17634, 17637, 17785, 17788.

¹² ПСЗРИ-1. Т. 24. № 17879.

¹³ ПСЗРИ-1. Т. 20. № 14691.

Завершающая стадия правовой унификации, начавшаяся с приходом к власти Александра I и ускоренная Ноябрьским восстанием 1830-1831 гг., характеризуется окончательным закреплением унитарно-централизованного принципа управления на территории пограничных губерний, повсеместной заменой Магдебургского права, действовавшего на территории Речи Посполитой, на «Жалованную грамоту городам 1785 г.», предусматривавшую ограниченное городское самоуправление при условии утверждения избираемых должностей центральной властью, устранением публичного и частного права Речи Посполитой из сферы правового регулирования, прекращением действия местных источников права.

В целом, к середине XIX в. правовые условия административного строя западных губерний практически не имели различий с внутренними губерниями России.

Важным инструментом унификации явилась *сословная гомогенизация*, осуществлённая посредством распространения на дворянство на новоприобретённых землях тех же привилегий (изложенных в «Жалованной грамоте дворянству 1785 г.»), что и в Центральной России, и *разбора шляхты*. Шляхте предписывалось предоставить доказательства своего происхождения, оформленные по правилам Российской империи. Впоследствии неоднократно проводились ревизии лиц, имевших шляхетское звание. В результате тех, кто не смог подтвердить своё шляхетство, записывали в иные сословия: вольными хлеборобами, государственными крестьянами, мещанами. Крупнейший разбор шляхты осуществлялся по указу 19 октября 1831 г. как реакция на Ноябрьское восстание 1830–1831 гг. – в сословие однодворцев и граждан было переведено около 200 тыс. человек, а «нижние» слои шляхетского населения были записаны крестьянами. В целом процесс сословной гомогенизации растянулся более чем на полвека и завершился только к 1860-м гг.

Важной задачей российской власти стало создание и укрепление своей социальной базы, что было необходимо для трансплантации социокультурных институтов. При этом широко использовался *механизм обусловленности*.

Следует отметить, что первоначально (до 1830-х) положительная (стимулирующая) обусловленность применялась лишь к небольшой части населения (например, к магнатам, ординации которых сохранялись при условии лояльности их хозяев к государю). Значительную поддержку российское самодержавие оказывало Русской православной церкви (РПЦ). Ещё Екатериной II Униатская (греко-католическая) церковь была ограничена в правах, а в 1839 г. Полоцкий собор передал униатские приходы западных губерний РПЦ, существенно повысив её экономический статус. Ещё большее внимание уделялось Русской православной церкви в 1860-е: принимались меры по улучшению материального положения духовного сословия, наделению его достаточным количеством земли, реализовывалась обширная программа ремонта и строительства православных храмов. РПЦ рассматривалась как идейный проводник российского самодержавия в системе народного образования.

По отношению же к остальному населению царизм чаще использовал механизм *отрицательной (ограничительной, принуждающей) обусловленности*, направленный, в первую очередь, на борьбу с противниками проводимых трансформаций: инакомыслящими и представителями иных (по отношению к православному христианству) конфессий. В 1791 г. Екатериной II введена *черта постоянной еврейской осёдлости*¹⁴. Евреи утрачивали свободу выбора места жительства, им было запрещено (с некоторыми исключениями, например, при наличии высшего образования, что было и среди нееврейского населения чрезвычайной редкостью) селиться за пределами территорий бывшей Речи Посполитой и в сельской местности.

Ещё более жёсткие меры предпринимались в конце XIX в. В мае 1882 г. правительство запретило евреям в пределах черты осёдлости селиться вне городов и местечек, арендовать, принимать в залог и управление недвижимое имущество. Католикам, евреям и иностранцам было запрещено покупать казённые и частные земельные владения в западных губерниях. Помещики польского происхождения были обложены контрибуцией (от 10% и выше своих доходов они были вынуждены выплачивать государству). Введены были ограничения при поступлении католиков в высшие учебные заведения. Католики и евреи не могли приниматься на государственную службу.

С целью увеличения численности православного населения в западных губерниях, согласно закону 13 июля 1889 г., введено ограничение на переселение крестьян на свободные земли, практиковавшееся в Центральной России.

Вместе с тем в связи с необходимостью укрепления своей социальной базы самодержавие было вынуждено задействовать и *положительную обусловленность*. В 1839 г. Николай I подписал «Положение о люстрации государственных имуществ в Западных губерниях и Белостокской области»¹⁵. Реформа предусматривала, в частности, постепенный перевод государственных крестьян с барщины на оброк, признание за ними гражданской свободы, права на получение наследства и собственности, занятие торговлей и промыслами.

Кроме того, царское правительство задействовало также *механизм замещения*, активно раздавая здесь земли с крестьянами русским помещикам, крупным военачальникам, чиновникам (Никотин 1886: 31).

Следует также отметить *механизм социализации*, направленный на социокультурную гомогенизацию западных губерний. При этом основным целевым объектом являлось крестьянство. Главным инструментом социализации была система народного образования, которая перестраивалась «в духе право-

¹⁴ Черта осёдлости. *Электронная еврейская энциклопедия*. URL: <https://eleven.co.il/jews-of-russia/history-status-1772-1917/14679/> (дата обращения 21.08.2021).

¹⁵ Высочайше утверждённое положение о люстрации государственных имуществ Западных губерний и Белостокской области. *Runivers.ru*. URL: https://runivers.ru/lib/anons.php?ID=63702&IBLOCK_ID=36 (дата обращения 21.08.2021).

славия и *русской* народности» с акцентом на преимущественное развитие начальной школы (Рождественский 1902).

Используемые Российской империей механизмы обусловили трансплантацию и закрепление на новых территориях, доминирующих в российской институциональной матрице редистрибутивных институтов. Среди них: отношения редистрибуции в экономике; иерархичный стиль управления; укрепление крестьянской общины. Однако, наряду с доминирующими, трансплантировались и компенсаторные институты, связанные с развитием рыночных отношений. Российские власти способствовали развитию как вотчинных, так и капиталистических мануфактур. Например, в конце 1850-х гг. на белорусских землях их было 549 с 6,5 тыс. рабочих, среди которых вольнонаёмные составляли 43% (Ковкель, Ярмусик 2000: 77). Динамично развивалось тонкорунное овцеводство. Реконструировались каналы, сухопутные дороги.

Следует отметить, что некоторые институты Речи Посполитой не были ликвидированы. В частности, в западной части белорусских земель сохранялась фольварочная система хозяйствования. Кроме того, царской властью целенаправленно создавались новые ординации в Царстве Польском после 1831 г. из земель, конфискованных у участников восстания 1830-1831 гг. и переданных православным помещикам, что свидетельствует об «обратном» влиянии институтов имплантированного социума.

Интеграционная модель Австрийской империи

Как правило, понятие империи отождествляют с «вариантом организации отношений господства – подчинения, связанным с максимальной концентрацией властного потенциала в руках господствующего меньшинства» (Каспэ 2001: 9). Однако в отдельных случаях для империи возможно использование элементов федерализма в её государственно-территориальной структуре (Каспэ 2001: 53). Это наблюдалось, в частности, в Габсбургской монархии (с 1804 г. – Австрийской империи), представлявшей собой к концу XVIII в. конгломерат одиннадцати больших народов и огромного числа малых этнических групп, в котором, в отличие от России, ни одна нация не составляла абсолютного большинства.

Центральная власть в монархии была относительно слабой и плохо контролировала регионы. Однако примечательно, что некоторые её параметры развития соответствуют особенностям европейских интеграционных структур начала XXI в.: единое гражданство, единое экономическое пространство (в 1775 г. в монархии Габсбургов был создан Таможенный союз, уничтоживший многие внутренние торговые пошлины и увеличивший пошлины, которыми облагалась внешняя торговля (Royal and Republican Sovereignty... 2006: 437)), наличие региональной системы управления (парламентов и правительств), делегирование ряда полномочий на наднациональный (общеевропейский) уровень. Прави-

тельство поощряло развитие промышленности, основанной на наёмном труде, освобождая от уплаты налогов новые промышленные предприятия на срок до десяти лет. Для подготовки квалифицированных рабочих были созданы технические и ремесленные школы. Всё это свидетельствует о наличии в институциональной матрице Австрийской империи сильных рыночных элементов.

В результате первого раздела Речи Посполитой Габсбурги получили территории, составившие провинцию «Королевство Галиция и Лодомерия» («Великое княжество Краковское» добавлено позже). Отметим, что Галиция досталась Польше в 1392 г. в результате распада Галицко-Волынского княжества и была встроена в её институциональную матрицу ещё задолго до Люблинской унии. Однако титул королей Галиции тогда закрепился за также участвовавшими в войне за галицко-волынское наследство венгерскими королями, чьими правопреемниками были Габсбурги, рассматривавшие присоединение этих территорий Речи Посполитой как возврат своих исконных земель.

В отличие от областей, включённых в состав России, сословное деление здесь практически совпадало с этническим: поляки – паны, русины (общепринятое самоназвание западных украинцев до начала XX в.) – крепостные крестьяне, работавшие на пана пять-шесть дней в неделю, евреи – мещане (в основном, небогатые ремесленники).

Так же, как и Россия, империя Габсбургов задействовала в отношении присоединённых земель механизмы унификации, обусловленности, замещения и социализации. Однако упомянутые выше особенности Австрийской империи и её новых территорий обусловили специфику используемой интеграционной модели.

Инструментом реализации механизма унификации стало образование новой административной единицы – Королевства Галиции и Лодомерии (Лебедев 2019). Выделение для новых территорий отдельной короны свидетельствует об их включении в систему, в основе построения которой принципиально другой в сравнении с Россией *архетип* – федерализма. Важными инструментами унификации явились: вступление Галиции в Таможенный союз, замена до 1786 г. законов Речи Посполитой австрийскими законами и роспуск шляхетских «сеймиков» (Magosci 2010). Однако, чтобы смягчить удар для старой знати, Вена, руководствуясь *механизмом положительной обусловленности*, учреждает Ассамблею сословий, состоящую из шляхты и духовенства. Этот орган практически не обладал правом принимать собственные решения, однако мог обращаться с петициями к императору, что было невозможным в Российской империи. Таким образом, в процессе интеграции новых территорий австрийские власти прибежали к созданию *политических институтов переходного типа*, направленных на укрепление автономии. Следует отметить, что, как реакция на «Весну народов», в период с 1848 по 1867 гг. наблюдалось отступление от этого подхода: Австрийская империя пыталась свернуть права провинций, но с введением двуединой монархии Галиция получила ещё более широкую автономию.

Для успешной трансплантации институтов необходима социальная опора. Для её создания власти применили *механизм замещения*. Однако это были не помещики, как в Российской империи, а чиновники (австрийцы и говорящие по-немецки чехи) и немецкоязычные колонисты, которые, по мнению властей, обеспечили бы внедрение передовых (западноевропейских) методов хозяйствования.

Кроме того, с целью противодействия сепаратистским настроениям поляков встала задача привлечения на свою сторону русинского крестьянства и греко-католической церкви, для чего властями широко использовался *механизм положительной обусловленности*. С 1781 г. император Иосиф II предпринял ряд шагов, направленных на отмену крепостного права: была введена максимальная продолжительность барщины (не более трёх дней в неделю); установлены права крестьянина обрабатывать свой собственный надел, жениться без согласия помещика, переходить на другие наделы и обращаться в суд с жалобами на помещика (Афанасьева 2011). Поддержка оказывалась и греко-католической церкви. В 1781 г. установлено «Право веротерпимости», в соответствии с которым священники униатской и католической конфессий имели равные права. Кроме того, правительство начало выплачивать всем священникам скромное жалованье, что сразу подняло их экономический статус. Наконец, в 1807 г. была восстановлена Галицкая митрополия (Яневский 2018).

Австрийскими властями широко применялся *механизм социализации*, способствующий трансплантации на новые земли социокультурных институтов империи. В 1774 г. в Вене основана греко-католическая семинария, которая не только давала русинским студентам систематическое богословское образование, но и приобщала их к западной культуре. В 1783 г. ещё более крупная семинария открылась во Львове. В 1784 г. основан первый на Украине Львовский университет. Введена австрийская система обучения, состоявшая из школ трёх типов: одноклассных церковно-приходских с родным языком обучения, трёхклассных с немецким или польским языком и четырёхклассных, готовивших для поступления в гимназии и университеты.

Однако слабо развитое железнодорожное сообщение Галиции с Веной, преимущественная ориентация хозяйства на аграрный сектор, приносящий малый прибавочный продукт, отсутствие инфраструктуры обусловили, в целом, значительно меньшее внимание центральных властей к региону, чем к западным, более богатым провинциям.

Ситуация изменилась в 1848 г. Ослабление центральной власти в Вене обусловило возникновение двух параллельных национально-освободительных движений в пределах Королевства – польского и русинского, что явилось прямым следствием существующих в провинции социальных (межэтнических) противоречий. В этих условиях *разделение и противопоставление национальных движений* стало главным механизмом сохранения трансплантированных Австрийской империей институтов и, следовательно, «сердцевиной» интегра-

ционной стратегии. Благодаря использованию этого механизма национализм населяющих империю народов никогда не был направлен против Вены, взявшей на себя роль арбитра между конфликтующими сторонами. Инструментами данного механизма стали: поддержка русинского движения и формирование из него опоры самодержавия в регионе; создание парламента, в который впервые в истории были избраны русины; отмена барщины в Галиции (манифест императора Фердинанда I от 23 апреля 1848 г. почти на пять месяцев опередил аналогичный указ, запретивший её во всех остальных частях империи) и привлечение на сторону самодержавия крестьянского (преимущественно русинского) населения, составлявшего более 90% жителей провинции.

Однако в годы реакции после 1848 г. Вена изменила свой интеграционный подход к Галиции, выбрав политику *ограниченной, асимметричной трансплантации* своих институтов на земли провинции, которая заключалась во внедрении ряда политических институтов (избирательной системы, самоуправления, поскольку управлять из центра затратно) и консервации существующих экономических и социокультурных институтов. Во второй половине XIX в. Галиция оставалась наиболее отсталой в экономическом отношении территорией Австро-Венгрии. Меры для развития промышленности не предпринимались. Правительство не предоставляло предпринимателям налоговые льготы, которыми пользовались в западных провинциях. Доступ товарам на рынки Австро-Венгрии и соседних стран был фактически закрыт. Одновременно существовали льготы на вывоз отсюда сырья и полуфабрикатов. Чрезвычайно медленно развивалось сельское хозяйство, что объяснялось особенностями проведённой аграрной реформы (сохранением пережитков крепостничества, в частности, сервитутов – прав на пользование помещичьими лесами, лугами, пастбищами) и отстающей в сравнении с западными австрийскими землями степенью механизации сельского хозяйства в связи с крестьянским перенаселением и связанной с ним дешёвой рабочей силой, а также дороговизной для обедневшей польской шляхты импортных машин (Топильский 2019). Урожайность в крае была в полтора-два раза ниже, чем в западноевропейских странах.

Регион оказался на положении внутренней колонии. Опыт Галиции в составе Австрийской империи свидетельствует о необходимости симметричной трансплантации институтов для успешного встраивания социума в институциональную матрицу, что подразумевает внедрение не только политических, но и экономических и социокультурных институтов.

* * *

Особенности государственного устройства и национального состава населения империй, географическое положение и уровень экономического развития присоединённых земель обусловили выбор типа интеграции новых территорий. Российский подход был направлен на выравнивание приобретённых земель с внутренними областями империи, для чего была осуществлена одновременная

трансплантация экономических, политических и социокультурных институтов. Присоединённые земли признавались исконно русскими, что препятствовало развитию белорусского национального движения. Следует отметить достаточно высокую эффективность российского подхода, обеспечившего быструю дефронтализацию новых территорий и продолжительное отсутствие тенденций к самораспаду.

Вена, в силу проблемности гомогенизации Галиции с другими регионами крайне неоднородной империи, для которой было невозможно выделить титульную нацию и установить сильную централизованную власть, вынуждена была распространить на новоприобретённые земли принципы федерального управления, имплантировав политические институты переходного типа, направленные на автономизацию региона. Неизбежное возникновение национально-освободительных движений в империи подобного типа обусловило необходимость применения механизма их разделения и противопоставления. В целом австрийская политика характеризовалась ограниченностью и асимметричностью трансплантации институтов на земли провинции (внедрение лишь ряда политических институтов), вследствие чего регион оказался в положении внутренней колонии. Однако формирование на территории Галиции русинского национального движения, признание Высшим русинским советом русинов и малороссов Российской империи единым народом (украинцами), что было следствием осуществлённых империей Габсбургов институциональных трансплантаций, имели геополитическое значение и сыграли значительную роль в последующей истории Украины.

Об авторе:

Павел Александрович Барахвостов – кандидат политических наук, доцент кафедры политологии Белорусского государственного экономического университета, 220070, Республика Беларусь, г. Минск, Партизанский проспект, 26. E-mail: barakhvostov@yandex.by

Конфликт интересов:

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

UDC: 325.3
Received: May 27, 2021
Accepted: July 21, 2021

Institutional Analysis of the Integration of Rzeczpospolita Lands in-to the Russian and Austrian Empires

P.A. Barakhvostov
[DOI 10.24833/2071-8160-2021-4-79-51-69](https://doi.org/10.24833/2071-8160-2021-4-79-51-69)

Belarusian State Economic University

Abstract: The article studies the collapse of Rzeczpospolita and the admission of its parts into the Russian and Austrian Empires to understand through the institutionalist approach the consequences of reformatting the geopolitical space, namely, implantation of the debris of the collapsed society into another social system. It reveals the mechanisms of the fusion of donor and recipient societies. They include unification – the integration of new territories into the legal and administrative-territorial organization of the acceptor country. This mechanism proceeds through several stages: initial, implying the creation of hybrid institutions (implementation of the new authorities into the pre-existing system of power); secondary, when the institutional transplants are rebuilt with the simultaneous foundation of intermediate institutions); final (the ultimate restructuring of power following the new model). A vital instrument of unification is constituted by estate homogenization or the alignment of the social organization of the new lands and the acceptor society. Besides, among the mechanisms of integration, there are

- conditionality (positive, or stimulating, for extending the social base of transformations as well as negative, intended to curb resentment),
- substitution (admission of representatives of the acceptor society to the higher estate of the new lands),
- socialization (measures to culturally homogenize the united social system).

Despite the similarity of the employed mechanisms, there is a difference in the integration models applied by the Russian and Austrian Empires, which is due to the specificities of the state organization and national structure of these empires as well as the geographical location and the level of economic development of the acquired territories. The distinctive feature of the Russian approach to homogenization of the new lands with the rest of the empire was transplantation of economic, political, and social-cultural institutions to the acquired territories with preservation of some pre-existing endemic economic institutions. The Austrian policy was characterized by asymmetrical and limited institutional transplantations (only political institutions) to the new province, which turned the region into a virtual inner colony. The meaning of the chosen integration model for the later development of the integrated lands is also discussed.

Keywords: geopolitical space, empire, institutional matrix, basic institutions, redistributive economy, market relations, crisis, bifurcation point, integration, institutional transformations.

About the author:

Pavel A. Barakhvostov – PhD (Political Science), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Political Science, Belarusian State Economic University, 26, Partizanskiy Avenue, Minsk, Republic of Belarus, 220070.

Conflict of interest:

The author declares the absence of conflict of interest.

References:

- Brousseau E., Raynaud E. 2011. Climbing the Hierarchical Ladder of Rules: a Life-cycle Theory of Institutional Evolution. *Journal of Economic Behaviour and Organisation*. 79(1). P. 65–79. DOI: 10.1016/j.jebo.2011.01.027.
- Dowd A.C., Pak J.H., Bensimon E.M. 2013. The Role of Institutional Agents in Promoting Transfer Access. *Education Policy Analysis Archives*. 21(15). URL: <http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/1187> (accessed 21.08.2021). DOI: 10.14507/epaa.v21n15.2013.
- Knudsen T. 2008. Organizational Routines in Evolutionary Theory. *Handbook of Organizational Routines*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd. P. 125–151.
- La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R.W. 1998. Law Magosci and Finance. *Journal of Political Economy*. 106 (6). P. 1113–1154. DOI: 10.1086/250042.
- Lehmbruch G. 2000. Institutional Change in the East German Transformation Process. The Role of the State in the Reorganization of Property Rights and the Limits of Institutional Transfer. *German Politics and Society*. 18(3). P. 13–47. DOI: 10.3167/104503000782486507.
- Magosci P.R. 2010. *A History of Ukraine. The Land and Its People*. Toronto: University of Toronto Press. 896 p.
- Mahoney J., Thelen K. 2010. A Theory of Gradual Institutional Change. *Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency and Power*. Cambridge: Cambridge University Press. P. 1–37. URL: https://assets.cambridge.org/97805211/18835/excerpt/9780521118835_excerpt.pdf (accessed 21.08.2021).
- Mouzelis, N.P. 2008. *Modern and Postmodern Social Theorizing*. Cambridge: Cambridge University Press. 300 p. URL: https://assets.cambridge.org/97805215/15856/frontmatter/9780521515856_frontmatter.pdf (accessed 21.08.2021).
- North D.C. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge, Cambridge University Press. 152 p. DOI:10.1017/CBO9780511808678.
- Ostrom E. 1982. *Strategies of Political Inquiry*. Beverly Hills, Sage. 224 p.
- Peters B.G. 2019. *Institutional Theory in Political Science: The 'New Institutionalism'*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd. 304 p.
- Polanyi K. 1977. *The Livelihood of Man (Studies in Social Discontinuity)*. New-York: Academic press. 280 p.
- Roland G. 2000. *Transition and Economics. Politics, Markets and Firms*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. 400 p.
- Royal and Republican Sovereignty in Early Modern Europe*. Essays in Memory of Ragnhild Hatto. 2006. Cambridge: Cambridge University Press. 696 p.
- Singh P. 1970. Problems of Institutional Transplantation: The Case of the Commonwealth Caribbean Local Government System. *Caribbean Studies*. 10(1). P. 22–33.
- Stiglitz J. 1998. Distinguished Lecture on Economics in Government. The Private Uses of Public Interests: Incentives and Institutions. *Journal of Economic Perspectives*. 12(2). P. 3–22. DOI: 10.1257/jep.12.2.3.
- Afanasieva Yu.S. 2011. Prosveshennyj Absolutizm Iosifa II v Ocenkah A.M. Onu [Enlightened Absolutism of Joseph II in the Estimates of A.M. Onu]. *Gumanitarnye nauchnye issledovaniya*. №2. URL: <http://human.snauka.ru/2011/10/188> (accessed 21.08.2021) (In Russian).
- Bauman Z. 2008. *Tekuchaja Sovremennost' [Fluid Modernity]*. St.-Petersburg: Piter. 240 p. (In Russian).

Bessonova O.E. 2019. Kontraktnyj Razdatok i Solidarizm – Novaja Veha Rossijskoj Matricy [Contract Redistribution and Solidarism is New Era of Russian Matrix]. *Mir Rossii*. №1. P. 7-31. DOI: 10.17323/1811-038X-2019-28-1-7-31 (In Russian).

Burkaľtseva D.D. 2016. Process «transplantacii» institutov kak stanovlenie novoj jekonomichejskoj sistemy [Process of Institutional Transplantation as Formation of New Economic System]. *MIR (Modernizatsiya. Innovatsii. Razvitie)*. 7(4). P. 19–24. DOI: 10.18184/2079-4665.2016.7.4.19.24 (In Russian).

Durkheim E. 1995. *Sociologija. Ee predmet, metod, prednaznachenie* [Sociology. Its Subject, Method, Purpose]. Moscow: Kanon. 352 p. (In Russian).

Elias N. 2002. *Pridvornoe Obshchestvo* [Court Society]. Moscow: Jazyki Slavjanskoj Kul'tury. 368 p. (In Russian).

Eliseev S.M. 2011. Modernizacija Rossijskogo Obshchestva v Kontekste Teorii Institucional'nyh Matric [Modernization of Russian Society in the Frame of the Theory of Institutional Matrices]. *Politicheskaja Expertiza: POLITEX*. №3. P. 38-49. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/modernizatsiya-rossijskogo-obschestva-v-kontekste-teorii-institucionalnyh-matric> (accessed 21.08.2021) (In Russian).

Kaspe S.I. 2001. *Imperija i Modernizacija: Obshhaja Model' i Rossijskaja Specifika* [Imperia and Modernization. General Model and Russian Features]. Moscow: ROSSPEN. 256 p. (In Russian).

Kirdina S.G. 2014. *Institucional'nye Matricy i Razvitie Rossii: Vvedenie v H-Y-teoriju* [Institutional Matrices and Development of Russia: Introduction in X-Y Theory]. St.-Petersburg: Nestor Istoria. 468 p. (In Russian).

Kovkel' I.I., Yarmusik E.S. 2000. *Istorija Belarusi s Drevnejshih Vremen do Nashego Vremeni* [History of Belarus from Ancient Times to Modernity]. Minsk: Aversev. 592 p. (In Russian).

Ksenzova V. E., Ksenzov S.V. 2013. Osobennosti Jevoljucii i Sovremennogo Sostojanija Institucional'noj Sredy Jekonomiki Belarusi v Kontekste Konceptcii X-Matricy [Features of Evolution and Modern State of Institutional Medium of Belarus Economics in Context of X-Matrix Concept]. *Journal of Institutional Studies*. 5(1). P. 145-156 (In Russian).

Lebedev S.V. 2021. *Etnicheskaja Istorija Regionov Ukrainy* [Ethnic History of Regions of Ukraine]. St.-Petersburg: Aleteiya. 506 p. (In Russian).

Lubskii A.V. 2016. Institucional'naja Matrica Estestvennogo Gosudarstva i Social'nyj Porjadok v Rossii [Institutional Matrix of Natural State and Social Order in Russia]. *Politicheskaja konceptologija*. №4. P. 114-123 (In Russian).

Nesterenko A.N. 2002. *Ekonomika i Institucional'naja Teorija* [Economics and Institutional Theory]. Minsk: URSS. 416 p. (In Russian).

Nikitenko P.G., Solodovnikov S.Yu. 2008. *Social'no-ekonomicheskie Sistemy Belarusi i Rossii: Jevoljucija i Perspektivy* [Socioeconomic systems of Belarus and Russia: Evolution and Prospects]. Minsk: Belorusskaya nauka. 374 p. (In Russian).

Nikotin I.A. 1886. *Stoletnij period rosskogo zakonodatel'stva v vossoedinennyh ot Pol'shi gubernijah i zakonodatel'stvo o evrejah (1649-1876)* [A Hundred-year Period of Russian Legislation in Provinces Reunited from Poland and Legislation on Jews (1649-1876)]. Vil'no. №2. 420 p. (In Russian).

Polterovich V.M. 2001. Transplantacija Jekonomicheskijh Institutov [Transplantation of Economic Institutions]. *Ekonomicheskaja Nauka Sovremennoj Rossii*. №3. P. 24-50 (In Russian).

Rozhdestvenskij S.V. 1902. *Istoricheskij Obzor Dejatel'nosti Ministerstva Narodnogo Prosveshhenija (1802-1902)* [Historical Review of the Activities of the Ministry of Education (1802-1902)]. St.-Petersburg: Isdatel'stvo Ministerstva Narodnoro Prosveshcheniya. 786 p. URL: http://elib.gnpbu.ru/text/rozhdestvensky_istoricheskij-obzor-deyatelnosti_1902/fs,1/ (accessed 21.08.2021). (In Russian).

Topilskii A.G. 2019. Harakter Razvitiya Krupnogo Zemlevladieniya v Galicii v 1848–1902 gg. [The Nature of the Development of Large Land Tenure in Galicia in 1848–1902]. *Vestnik Tambovskogo universiteta. Serija: Gumanitarnye nauki*. 24(181). P. 198-203. DOI: 10.20310/1810-0201-2019-24-181-198-203 (In Russian).

Yanevskii D.B. 2018. *Proekt «Ukraina». Izvestnye istorii nashej derzhavy: prodolzhenie (1774-1914 gg.)* [Project “Ukraine”. Known Histories of Our Country, Continued (1774-1914)]. ОМКО. 285 p. (In Russian).

Yurganov A.L. 1998. *Kategorii Russkoj Srednevekovoj Kul'tury* [Categories of Russian Medieval Culture]. Moscow: MIROS. 448 p. URL: https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/kulturologija/jurganov_a_l_kategorii_russkoj_srednevekovoj_kulturny_1998/16-1-0-1779 (accessed 21.08.2021). (In Russian).

Список литературы на русском языке

Афанасьева Ю.С. 2011. Просвещённый абсолютизм Иосифа II в оценках А.М. Ону. *Гуманитарные научные исследования*. №2. URL: <http://human.snauka.ru/2011/10/188> (дата обращения 21.08.2021).

Бауман З. 2008. *Текущая современность*. Санкт-Петербург: Питер. 240 с.

Бессонова О.Е. 2019. Контрактный раздаток и солидаризм – новая веха российской матрицы. *Мир России*. №1. С. 7-31. DOI: 10.17323/1811-038X-2019-28-1-7-31

Буркальцева Д.Д. 2016. Процесс «трансплантации» институтов как становление новой экономической системы. *МИР (Модернизация. Инновации. Развитие)*. 7(4). С. 19–24. DOI: 10.18184/2079-4665.2016.7.4.19.24.

Дюркгейм Э. 1995. *Социология. Её предмет, метод, предназначение*. Москва: Канон. 352 с.

Элиас Н. 2002. *Придворное общество*. Москва: Языки славянской культуры. 368 с.

Елисеев С.М. 2011. Модернизация российского общества в контексте теории институциональных матриц. *Политическая экспертиза: ПОЛИТЕКС*. №3. С. 38-49. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/modernizatsiya-rossijskogo-obschestva-v-kontekste-teorii-institutsionalnyh-matrits> (дата обращения: 21.08.2021).

Каспэ С.И. 2001. *Империя и модернизация: общая модель и российская специфика*. Москва: РОССПЕН. 256 с.

Кирдина С.Г. 2014. *Институциональные матрицы и развитие России: введение в X-Y теорию*. Санкт-Петербург: Нестор-История. 468 с.

Ковкель И.И., Ямусик Е.С. 2000. *История Беларуси с древнейших времен до нашего времени*. Минск: Аверсэв. 592 с.

Ксензова В.Е., Ксензов С.В. 2013. Особенности эволюции и современного состояния институциональной среды экономики Беларуси в контексте концепции X-матрицы. *Журнал институциональных исследований*. 5(1). С. 145-156.

Лебедев С.В. 2021. *Этническая история регионов Украины*. Санкт-Петербург: Алетейя. 506 с.

Лубский А.В. 2016. Институциональная матрица естественного государства и социальный порядок в России. *Политическая концептология*. №4. С. 114-123.

Нестеренко А.Н. 2002. *Экономика и институциональная теория*. Минск: URSS. 416 с.

Никитенко П.Г., Солодовников С.Ю. 2008. *Социально-экономические системы Беларуси и России: эволюция и перспективы*. Минск: Белорусская наука. 374 с.

Никотин И.А. 1886. *Столетний период русского законодательства в воссоединенных от Польши губерниях и законодательство о евреях (1649-1876)*. Вильно. Т. 2. 420 с.

Полтерович В.М. 2001. Трансплантация экономических институтов. *Экономическая наука современной России*. №3. С. 24-50.

Рождественский С.В. 1902. *Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения (1802-1902)*. Санкт-Петербург: Издательство Министерства народного просвещения. 786 с. URL: http://elibrary.gnpbu.ru/text/rozhdestvenskiy_istoricheskiy-obzor-deyatelnosti_1902/fs,1/ (дата обращения: 21.08.2021).

Топильский А.Г. 2019. Характер развития крупного землевладения в Галиции в 1848–1902 гг. *Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки*. 24 (181). С. 198-203. DOI: 10.20310/1810-0201-2019-24-181-198-203.

Яневский Д.Б. 2018. *Проект «Украина». Известные истории нашей державы: продолжение (1774-1914 гг.)*. ОМИКО. 285 с.

Юрганов А.Л. 1998. *Категории русской средневековой культуры*. Москва, МИРОС. 448 с. URL: https://platon.net/load/knigi_po_filosofii/kulturologija/jurganov_a_1_kategorii_russkoj_srednevekovoj_kultury_1998/16-1-0-1779 (дата обращения 21.08.2021).



Роль лидеров в формировании внешнеполитической идентичности в Египте

И.Э. Ибрагимов

Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук

В современной теории международных отношений особенности формирования внешнеполитической идентичности государства привлекают интерес к этой научной проблеме, изучение которой способно дать понимание политической деятельности государства и его позиционирования на международной арене.

Процесс формирования внешнеполитической идентичности связан как с объективными, так и с субъективными факторами. К объективным следует отнести географический, историко-культурный и религиозный, ключевым из субъективных факторов можно считать роль лидера. Данный фактор характерен для ближневосточных государств, особенно для Египта, где имеются традиции сильной централизованной власти. В рамках политического механизма египетские лидеры обладают верховной властью в принятии внешнеполитических решений, и внешняя политика Египта нередко обусловлена личными чертами и характеристиками лидеров страны.

Данная статья ставит целью изучить роль главы египетского государства при поисках внешнеполитической идентичности в условиях кризиса идентичности на национальном уровне. Египет имеет долгую историю авторитарного правления, поэтому отделить национальную идентичность от внешнеполитической невозможно. За период независимого существования каждая эпоха, имеющая собственный контекст, устанавливала различные рамки идентичности и мировоззрения лицам, принимающим решения в области внешней политики Египта. Преобладание различных элементов как идеологических, так и мировоззренческих в эпоху правления того или иного президента привели к заметным различиям во внешней политике Египта на нынешнем этапе.

В настоящей статье предпринята попытка ответить на следующие исследовательские вопросы: какое место занимает институт главы государства в принятии внешнеполитических решений? Насколько влияние лидера определяет внешнеполитическую роль государства? Какие изменения внешнеполитических акцентов и приоритетов произошли за исследуемый период? Каковы причины различий между основными периодами внешней политики Египта в целях, инструментах и подходах к внешнему миру?

Автор приходит к выводу, что в трансформациях внешнеполитического курса Египта важную роль играет смена политического лидера, несмотря на уникальные особенности и черты. В статье анализируются основные тенденции во внеш-

Поступила в редакцию: 11.06.2021 г.

Принята к публикации: 10.08.2021 г.

УДК: 329.73

неполитическом самовосприятии Египта с целью подтвердить гипотезу о том, что внешнеполитическая идентичность страны не претерпела разрыва преемственности даже в условиях драматических событий, будь то арабо-израильский конфликт, мирный договор с Израилем или события «арабской весны».

Ключевые слова: внешнеполитическая идентичность, роль лидера, Египет, внешняя политика, Ближний Восток.

Внешнеполитическая идентичность имеет ключевое значение при исследовании таких проблем, как особенности формирования внешнеполитического курса государства, восприятие внешней политики обществом и принятие внешнеполитических решений. Поиск государствами своей самобытности и уникальности во внешней политике связан с их представлениями о себе, своей особости и отличиях от «других», которые позволяют им выглядеть заметно и значимо¹.

Ближневосточные страны, претендующие на лидерство в регионе, активно используют внешнюю политику для подтверждения своего статуса ключевого игрока. Географическое положение, традиции, религия и историческое наследие оказывают определяющее воздействие на представления государств о собственной значимости, о врагах и партнёрах (Звягельская 2019: 93). Колоссальное влияние на внешнеполитическую стратегию стран оказывают их лидеры.

Последнее десятилетие можно охарактеризовать как время поиска Египтом своей внешнеполитической идентичности. Революция 2011 г. и события «арабской весны» ознаменовали новый период во внешнеполитической стратегии Египта. Те тенденции, которые формировались в течение всей современной истории страны, получают новый импульс к развитию. Политическая элита республики до сих пор находится в поиске своего внешнеполитического «я»: за долгие годы сформировано несколько моделей, которые сосуществуют, и время от времени то одна, то другая выдвигаются на первый план. Однако без сильного влияния со стороны лидера государства те или иные модели идентичности не могли бы развиваться.

Даже в случае расхождения политических воззрений главы государства с взглядами его предшественника внешняя политика страны не претерпевает существенных изменений. Арабская Республика Египет, чьи руководители формировали уникальное видение внешней политики, не является исключением. После «арабской весны» новому руководству пришлось в крайне сжатые сроки выстраивать отношения с соседями, определять векторы внешней политики,

¹ *Идентичность: Личность, общество, политика*. 2017. Энциклопедическое издание. Отв. ред. И.С. Семененко. Москва: Изд-во «Весь мир». 992 с. С. 465-466

необходимые для полноценного функционирования государства. В связи с этим роль политического лидерства оказалась первостепенной для формирования внешней политики страны.

Немногочисленные научные исследования, посвящённые самопозиционированию ближневосточных государств во внешней политике, в основном относятся к ключевым странам – Саудовская Аравия, Иран, Турция, Израиль. В последнее время проблема самоидентификации АРЕ на международной арене привлекает внимание научного сообщества как в Египте, так и за рубежом. Изучению египетской идентичности и её влияния на внешнюю политику посвящены заслуживающие внимания труды (Mellor 2015; Karawan 1994, 2005; Korany 2012; Telhamy; Barnett 2002; Sabet 2017; Ahmadian 2014). Имеются исследования, в которых проанализировано влияние отдельных лидеров на внешнюю политику Египта (Grimm, Roll 2012; Shalaby 1992; Khawaja 2013; Duman 2020). Исследователи отмечают преимущество внешней политики страны с 1952 г., притом, что каждый лидер демонстрировал своё видение египетской внешнеполитической самоидентификации. Проблематика внешней политики Египта широко освещена в зарубежной научной литературе, включая египетскую (Shama 2013; Hinnebusch 2003).

Традиционно изучению внешней политики «страны пирамид» уделяется особое внимание и в российской научной среде. Среди отечественных исследователей, изучающих связи Каира с внешним миром после получения в 1952 г. независимости, следует назвать таких видных авторов, как А.М. Васильев, В.Е. Титоренко, М.Л. Богданов, А.Б. Борисов, В.М. Виноградов.

Имеются исследования, посвящённые вопросам влияния лидера на формирование внешней политики и принятие внешнеполитических решений, типологии политического лидерства, взаимосвязям между личностью лидера и принимаемыми внешнеполитическими решениями (Hermann 1980, 1989; Херманн 1991; Dyson, Preston 2006). Проблемы политического лидерства в процессе формирования внешней политики рассматриваются в ряде отечественных публикаций (Дробот² 2018; Рожкова 2018; Семенов 2017). Комплексное исследование фактора идентичности во внутренней и внешней политике стран Ближнего Востока проведено в коллективной монографии под редакцией И.Д. Звягельской (Ближний Восток ... 2020).

Теоретико-методологической основой настоящей статьи выступает сравнительный анализ. Сравнение внешнеполитических курсов, проводимых президентами Г.А. Насером, А. Садатом, Х. Мубараком, М. Мурси и А.Ф. ас-Сиси, осуществляется с помощью трёх критериев:

- стиль внешнеполитического лидерства;

² Дробот Г.А. 1996. Роль личности в принятии внешнеполитических решений. *Обозреватель*. URL: https://i-sng.ru/observer/observer/N04_96/4_13.htm (дата обращения 15.08.2021)

- позиционирование политическим лидером своей страны в регионах Ближнего Востока, Европы, Африки и Азии, имеющее особую значимость в свете географического расположения Египта;
- видение политическим лидером характера отношений с ближайшими соседями, в первую очередь, с крупными державами региона: Саудовской Аравией, Исламской Республикой Иран, Израилем и Турецкой Республикой, а также с крупными глобальными игроками – США, РФ и КНР. Немаловажными представляются также взаимоотношения Египта с монархиями Персидского залива и африканскими странами.

Панарабский нарратив президента Насера

Ко времени обретения независимости Египет не обладал полной свободой в выстраивании внешнеполитического курса. Начало новому этапу формирования и развития внешнеполитической концепции Египта положили события 1950-х гг., когда Каир обрёл независимость от Великобритании, подвергся тройственному нападению во время Суэцкого кризиса, начал постепенно утверждать себя как часть арабского мира и контактировать со странами социалистического лагеря. В стремлении создать новую систему с новой идентичностью Гамаль Абдель Насер и его соратники приступили к культурным, социальным, политическим и экономическим преобразованиям (Telhami, Barnett 2002: 157). Своё видение внешней политики страны её президент обозначил в книге «Философия революции». Насер выделял три круга, в которые входит Египет: арабский, исламский и африканский. Как он отмечал, «эти круги позволяют нам осознать своё место и роль» (Nasser 1959: 77-78). По сути, в этой книге Насер заложил основу своей интерпретации панарабской идеологии, которая станет одной из доминирующих в регионе.

В правление Насера панарабизм стал основной идентичностью государства, выполнявшей также функцию внутренней легитимности. К тому же панарабская идентичность использовалась для увеличения свободы манёвра режима во внешней политике, обеспечивая сплочённость и единство общества. Суэцкий кризис и национализация канала во многом предопределили внешнеполитический курс Египта. После этих событий усилились позиции и авторитет страны в арабском мире и на международной арене. Египет прочно закрепил за собой авангардные позиции в арабском освободительном движении. Международная обстановка побуждала правительство Насера к активному продвижению панарабских идей. Арабская идея стала популярной и последовательно претворялась в жизнь в форме установления египетской политической и культурной гегемонии (Ближний Восток ... 2020: 63). Насер был признан неоспоримым выразителем идей арабского национализма и за пределами Египта, что усилило тягу к объединению арабских стран. Египет, как наиболее сильная в экономическом и военном отношении страна, позиционировался региональ-

ными странами в качестве лидера арабского мира и центра его объединения. Это привело к созданию в 1958 г. Объединённой Арабской Республики (ОАР), включавшей Египет и Сирию. Президентом ОАР был избран Насер, ставший образцом для подражания для многих политиков в регионе. Особенно высока была его популярность среди революционно настроенной арабской молодёжи. Во многих странах были созданы движения Свободных офицеров, которые принимали активное участие во внутривластной жизни. Египет оказывал широкую поддержку национально-освободительным движениям в Азии и Африке.

Важной составляющей внешнеполитической идентичности Египта, а для Насера – едва ли не личным делом, была война с Израилем. Президент принимал участие в Палестинской войне 1948 г. Униженный поражением арабских стран, он принял решение бороться против сионизма (Duman 2020: 377). Насер пытался объединить под своим верховенством арабские страны для борьбы против Израиля, однако практических результатов достичь не смог. Египетское руководство продолжало наращивать военную мощь страны, считая это одной из важнейших мер укрепления могущества ОАР и обеспечения её безопасности. Армия рассматривалась в качестве эффективного инструмента реализации внешнеполитических целей государства и противостояния «сионистскому врагу» (Khawaja 2013: 44).

Расширение Каиром своего влияния и поддержка революционных настроений, а также настойчивое подчёркивание своей исключительности, непрекращаемости международного опыта и политических взглядов руководителей страны, упорное навязывание лозунгов политической, экономической и военной консолидации арабского мира вокруг Египта во многих случаях вели к обратным результатам, заставляли арабских лидеров настороженно относиться к словам и делам Каира. В сущности, внешнеполитическая концепция «трёх кругов» была призвана утвердить центральную роль Египта в освобождавшемся от колониальной и полуколониальной зависимости арабском мире. Всячески подчёркивалось, что только Египет в состоянии играть роль лидера всех арабов.

В отличие от некоторых арабских государств, цель принятия Насером панарабизма была в том, чтобы взять на себя арабское лидерство, а также укрепить региональные и международные позиции Египта. Насер считал, что такая позиция может создать пространство для манёвра между великими державами и позволит его стране привлечь дополнительные ресурсы, получить экономические выгоды (Duman 2020: 376). С другой стороны, панарабская идентичность накладывала ограничения на египетскую внешнюю политику. От достигнутого политического и морального (но не военного) успеха действия руководства страны приводили к ошибочным выводам и решениям. С ростом расходов на панарабскую политику стало очевидным её несоответствие возможностям и состоянию Египта. Высокие издержки войны в Йемене и разрушительной войны

1967 г. расцениваются египетскими историками как результаты панарабской политики, которая наносила ущерб Каиру и дискредитировала его руководителей³. В 1950-е гг. прошёл пик идеологии панарабизма в Египте, а следующее десятилетие и особенно распад союза с Сирией характеризуется как эпоха отказа от этой идентичности и связанной с ней политики.

В XX в. ни один политик на Арабском Востоке не пользовался таким влиянием, как Насер. Можно констатировать, что именно он вывел Египет и арабов в целом на мировую арену. Вместе с тем приверженность Насера идее объединения арабов в условиях глубоких противоречий среди арабских государств при ориентации их внешних связей на промышленно развитые страны Европы и Америки лишала арабскую политику египетского президента перспектив. Кроме того, радикализм насеровского панарабизма, допускавшего применение силы во имя торжества идеи, в ряде случаев заводил египетскую политику в тупик. В частности, весьма негативный для имиджа Каира в арабском мире эффект имело многолетнее участие Египта в гражданской войне в Йемене. Сокрушительное военное поражение июня 1967 г. символизировало крушение социалистической и панарабской модели социального устройства на Ближнем Востоке. Война ослабила позиции ОАР в регионе. Значение Египта как центра арабского мира стало постепенно ослабевать. Насеру пришлось отказаться от претензий на руководящую роль на Арабском Востоке и пойти на серьёзные компромиссы в межарабских делах, в том числе примириться с Саудовской Аравией.

Переориентация при Садате: Египет превыше всего

Уход Насера поставил много вопросов относительно прочности режима и последовательности внутри- и внешнеполитического курса Египта. Будучи сам сподвижником Насера, новый президент Анвар Садат решительно отстранил от политики влиятельных насеристов, которые претендовали на неприемлемое для него коллективное руководство. Как и его предшественник, Садат продолжил линию на монополизацию внешней политики и консолидацию политических решений, но при этом сменил внешнеполитические ориентиры Египта. В эпоху Садата Египет отказался от панарабской идентичности; его внешняя политика выстраивалась на новой структуре идентичности. В противоположность Насеру, Садат не выдвигал претензий на лидирующую роль Египта в арабском мире. Новыми приоритетами египетского государства были заявлены патриотизм, стремление обеспечить благоприятные условия экономической либерализации ради привлечения иностранного капитала и улучшения социально-экономического положения в стране.

³ Ishaan Tharoor. How Yemen was once Egypt's Vietnam. *Washington Post*. 28.03.2015. URL: <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/03/28/how-yemen-was-once-egypts-vietnam/> (accessed 15.08.2021)

Консолидировав полноту власти, Садат всё чаще единолично принимал важнейшие решения, не только не советуясь с соратниками, но даже и не извещая их о своих намерениях. Для решения серьёзной проблемы он уединился у себя резиденции и проводил там несколько дней. Американский президент Р. Никсон (Nixon 2013: 340) характеризовал египетского коллегу как человека, которому нравится думать в одиночестве. По воспоминаниям Никсона, большинство важных решений Насер принял во время долгих прогулок вдоль Нила. Он редко обменивался мнениями со своими приближёнными и министрами, так что о многом им приходилось узнавать из официальных речей президента на заседаниях или по радио. Видный советский дипломат В.М. Виноградов, проработавший долгие годы послом в Египте, также отмечал: «Садат одинок в человеческом смысле» (Виноградов 2012: 151). Советники называли президента «одиноким фараоном» (Karawan 1994: 257). Он не любил читать доклады и аналитику, был склонен принимать неожиданные распоряжения, что делало его внешнеполитическое поведение непредсказуемым. Подобным образом обстояло дело с «инициативой Садата» в феврале 1971 г., когда он предложил «обменять» открытие Суэцкого канала на отвод израильских войск вглубь Синая. Другим примером может служить создание в 1971 г. Федерации арабских республик в составе Египта, Сирии и Ливии. Условия этой федерации были неряшливо сформулированы, в поспешно сделанном проекте оставалось много непродуманного и неясного. Только два человека знали о намерении президента свернуть отношения с Советским Союзом, а решение о начале войны 1973 г. было принято после обсуждения с Хafeзом Асадом. Знаменитая поездка в Иерусалим и выступление в Кнессете также были личным решением Садата (Chen 2011: 97). Личность и позиция президента играли огромную роль во внешней политике Египта, особенно в нормализации отношений с Израилем. Решительность Асада, его готовность рисковать ради достижения мира в регионе имели огромное значение.

В период правления Садата активность Каира в межарабских делах постепенно сокращалась. Именно он выступил с лозунгом «Египет – во-первых, во-вторых и в-последних». Если Насер упорно говорил о своём народе как об арабах, то Садат – подчёркнуто о египтянах (Виноградов 2012: 93). При Насере националисты стремились доказать, что культуру в Египет принесли арабы, а при Садате доказывали, что пришельцы арабы восприняли богатейшую египетскую культуру. Это нашло отражение и в смене названия страны, которая после принятия в 1971 г. новой конституции стала называться Арабской Республикой Египет.

Основные внешнеполитические проблемы Каира можно представить в виде «треугольника»: освобождение оккупированных территорий – СССР – США, в котором значимость каждой стороны менялась в зависимости от конкретной ситуации. Когда Садат пришёл к власти, он не был уверен в продолжении развития отношений с СССР, поскольку недружелюбно относился к Советскому

Союзу. Советская идеология была для него неприемлема, он лишь хотел использовать противоречия в политике двух великих держав – СССР и США – в интересах Египта, в своём понимании этих интересов.

Окончание Октябрьской войны 1973 г. обозначило поворот Египта на путь политического, а в дальнейшем – и военного сближения с США и, соответственно, отхода от сотрудничества с СССР. Начался долгий, трудный и противоречивый процесс политического урегулирования арабо-израильского конфликта исходя из понимания, что Египет вряд ли выдержит ещё одну «октябрьскую победу». Это обстоятельство в значительной, если не в решающей, степени повлияло на отказ египетского президента от попыток силового решения конфликта с Израилем и предопределило его выбор в пользу политического урегулирования с ориентацией только на египетские интересы, без оглядки на другие арабские страны (Telhamy, Barnett 2002: 162). Подобное политическое мышление, естественно, вело к ослаблению роли и влияния АРЕ в арабском мире. Подписание мира с Израилем действительно привело к нормализации двусторонних отношений; были установлены дипломатические отношения, прекращён экономический бойкот Израиля. При этом в целом мир оставался «холодным», египетское общество не было готово, да и не стремилось развивать отношения с недавним противником. Между тем серьёзные социально-экономические трудности вынуждали к постепенному изменению «национального настроения». Режим Садата использовал растущую усталость от войны, чтобы установить баланс между государственными и общественными предпочтениями (Telhamy, Barnett 2002: 162).

Оценивая египетско-израильский мирный договор, следует отметить, что Садат пошёл по пути решения египетских проблем за счёт других арабских стран и ООП. Договор не создал, да и не мог создать обстановку, благоприятствующую общему арабо-израильскому урегулированию, более того, он не положил конец попыткам израильтян и арабов решать существующие проблемы силовыми методами. Большинство арабских государств осудило договор с Израилем и разорвало дипломатические отношения с АРЕ. Резко ухудшилось положение Египта в арабском мире. Вместе с тем подчеркнём, что многие меры, принятые арабскими государствами в отношении Египта, носили декларативный характер и на практике не соблюдались.

Подписывая Кэмп-Дэвидские соглашения, Садат ставил перед собой три задачи, и он их решил: вернул Синай, вышел из конфронтации с Израилем, освободив ресурсы Египта для экономического развития, переориентировался во внешней политике на США, за что получил огромную помощь в решении социально-экономических проблем. В то же время односторонняя ориентация на США привела Египет к сильной и многосторонней зависимости от Вашингтона, которая сохраняется по сей день и вынуждает нынешний режим активно диверсифицировать свою внешнюю политику. Представляется, что внешнеполитический сдвиг Египта в 70-е гг. XX в. был обусловлен не только

личностью президента, не менее важную роль сыграли внешние и внутренние условия.

Подход Мубарака: многомерная идентичность через призму примирения

Новому президенту Египта Хосни Мубараку досталось трудное внешнеполитическое наследие: изоляция в арабском мире на фоне сильной зависимости от США. Предстояло решать сложнейшую задачу по выводу АРЕ из тупика, возвращению прежних позиций на Арабском Востоке, при этом сохраняя особые отношения с Соединёнными Штатами и поддерживая мир с Израилем. Мубарак стремился создать идентичность государства, которая бы включала элементы видения двух прежних президентов. Садат и Насер определили идентичность Египта двумя различными способами, и внутривнутриполитические и внешнеполитические дискурсы, соответствующие каждой из этих двух государственных идентичностей, дали разные стратегические результаты. Устранить это противоречие было трудно. Сложнее прочих оказалась задача создания внешнеполитической идентичности. В достижении политического баланса президент настаивал на многомерной идентичности Египта больше, чем его предшественники.

Для Мубарака ни та, ни другая идентичность не была доминирующей, поэтому его внешняя и внутренняя политика не имела той ясности и согласованности, как у Садата или Насера, зато она выглядела более сбалансированной. Были декларированы приверженность международному праву, принципам ненасилия в международных делах и невмешательства в дела других государств, стремление преодолеть конфронтационность в регионе и установить цивилизованные взаимовыгодные отношения со всеми странами, восстановить региональный и международный престиж АРЕ, готовность к посреднической роли в межгосударственных конфликтах разных уровней, прежде всего на Ближнем Востоке.

В таких обстоятельствах было разумно использовать новый внешнеполитический подход. Ссылаясь на лозунги панарабской эпохи, Мубарак демонстрировал склонность к возрождению регионального влияния Египта и интерес к арабским делам. Фактически первым вызовом для его внешней политики стала нормализация отношений с арабскими странами, которые были разорваны после заключения при Садате мира с Израилем. Мубарак пытался восстановить репутацию Египта, оказывая поддержку арабским странам, особенно палестинцам, даже за счёт снижения уровня сотрудничества с Соединёнными Штатами и Израилем. Акцентировалась «неотъемлемая принадлежность Египта арабскому миру» (Shalaby 1992: 111). Одновременно утверждалось, что «никакое арабо-египетское сближение не помешает Египту хранить мир» (Ahmadian 2014: 17), зато национальная безопасность станет устойчивее, когда наступит всеобщий мир на Ближнем Востоке, а палестинская проблема будет справедливо урегули-

рована. Приоритет во внешней политике был отведён постепенному восстановлению роли и места страны в арабском мире, с тем чтобы АРЕ выступала посредником в разрешении арабо-израильского конфликта, на переговорах ООП с США и Израилем. Мубарак не стремился к возрождению египетского лидерства в регионе: «в отличие от Египта Насера, который претендовал на арабское лидерство, играя роль героя арабской революции, независимого от Запада, Египет Мубарака представлял себя в качестве балансира и стабилизатора арабского мира» (Hinnebusch, Ehteshami 2002: 205).

Египетский президент сумел шаг за шагом сгладить отрицательную реакцию на Кэмп-Дэвид и вернуть своей стране симпатии арабов. Мубарак выработал удачную формулу египетско-израильских отношений, продвигая свою роль посредника в переговорах (Hinnebusch 2003: 211). Президент подчёркивал, что стратегическая цель Египта – установление мира на Ближнем Востоке, но при этом нормализация отношений с Израилем не была поставлена в зависимость от решения палестинской проблемы. Активное участие в мирных конференциях в 1990-е и 2000-е гг. было частью этой политики. Данная позиция (а Мубарак следовал ей неукоснительно) давала возможность оказывать давление на Израиль, а в определённой степени и на США.

Каир стал проводить более гибкий внешнеполитический курс, поддерживал лишь те американские действия в регионе, которые не противоречили его национальным интересам. Египет выступил резко против Ирака во время кризиса в Персидском заливе, он принял активное участие в возглавляемой США коалиции для освобождения Кувейта и защиты Саудовской Аравии. Египетское руководство умело использовало для получения иностранной финансово-экономической помощи своё положение в арабском мире как страны крупнейшей и притом единственной, заключившей мир с Израилем. Кроме того, Египет установил особые отношения с богатыми нефтью арабскими государствами Персидского залива, особенно с Саудовской Аравией, с тем чтобы обеспечить приток финансовой и экономической помощи для решения внутренних экономических проблем.

В последнее десятилетие правления Мубарака внешняя политика Египта столкнулась с серьёзными проблемами снижения доверия со стороны общества при неспособности устранить противоречия между двумя элементами внешнеполитической идентичности. Демонстрации против внешнеполитических решений Египта свидетельствовали об углублении раскола между властью и обществом. Этот кризис проявился в противостоянии правительства и исламистских движений, которые рассматривали идентичность Египта исключительно как исламскую. Военные операции Израиля против Ливана и Газы и египетско-израильское сотрудничество в блокаде сектора нанесли Египту существенные имиджевые потери в арабском мире.

Наряду с кризисом идентичности, тот факт, что Мубарак никогда не мог поднять региональную позицию Египта до уровня, сопоставимого со времена-

ми Насера или Садата, дополнительно навредил его репутации. Элементы политического реализма и прагматизма, основанного на представлении о безусловном примате египетских национальных интересов, всё заметнее преобладали во внешнеполитическом курсе Мубарака. Это не могло вызвать понимания со стороны исламистов и арабских националистов, считавших необходимым подчинение египетских интересов более широкой повестке. Внешняя политика Мубарака была направлена прежде всего на сохранение статус-кво. Активная внешняя политика, роль регионального лидера или участие в решении палестинского вопроса не стояли на повестке дня. Именно геостратегическая сдержанность сделала Египет гарантом региональной стабильности и надёжным союзником Вашингтона (Grimm, Roll 2012: 1). Мубарак недоиспользовал региональные возможности Египта, что привело к снижению влияния его страны на международной арене. Этот процесс существенно подорвал региональную роль Египта и его способность влиять на арабскую и ближневосточную политику.

«Арабская» весна на некоторое время переориентировала внимание властей на решение внутренних проблем. Несмотря на то, что революция разразилась из-за внутренних социальных и экономических требований, она имела скрытые последствия для внешней политики. Правление Х. Мубарака свидетельствует о постепенном регрессе региональной роли Египта, и этот регресс, ухудшение внешнеполитических условий и падение статуса страны были приписаны некомпетентности президента в сочетании с его преклонным возрастом (Sabet 2017: 58). В свою очередь, это оказало влияние на всю ближневосточную систему и привело к росту влияния других региональных держав – Турции, Ирана и монархий Персидского залива. Большинство египтян разделяли мнение о том, что режим Мубарака служил не национальным интересам его страны, а интересам Тель-Авива, Эр-Рияда и Вашингтона (Droz-Vincent 2012: 1). Соответственно, ожидалось, что новые правящие элиты пересмотрят внешнеполитический выбор в пользу более независимой и напористой внешней политики.

Исламизированная самоидентификация при М. Мурси

Трансформационные процессы «арабской весны» привели к корректировке внутренней и внешней политики Египта. До своего прихода к власти «Братья-мусульмане»⁴ заявляли, что предпримут серьёзные изменения во внешней политике: прекратят курс на нормализацию отношений с Израилем, пересмотрят Кэмп-Дэвидское соглашение, снизят зависимость от США. Они выражали недовольство падением влияния Египта как на региональном, так и на глобальном уровне (Selim 2020: 12). Хотя одного года правления Мохаммеда Мурси недостаточно для оценки результатов его внешней политики, её ориентация и основы

⁴ Запрещённая в России террористическая организация.

её идентичности успели проявиться даже за столь короткий промежуток времени. Внешнеполитическая программа новой администрации и позиции Партии свободы и справедливости (ПСС) в основном соответствовали идеологии и убеждениям «Братьев-мусульман».

Идеи пересмотра внешнеполитической стратегии Египта исламистами выглядели довольно революционно. Программа ПСС от 2012 г. подчёркивала стремление Египта играть ключевую роль, заняв достойное положение в региональной и мировой политике, и, в этой связи, готовность к проведению решительной внешней политики⁵. М. Мурси в своём заявлении после избрания на пост президента страны заявил, что «построит сильный Египет и изменит его систему национальной безопасности таким образом, чтобы она соответствовала возможностям Египта и его реальному весу в арабских, исламских, африканских и международных делах ... восстановит свободу воли Египта в международных отношениях ... отменит всякое подчинение любой внешней силе»⁶.

На деле курс М. Мурси отличался от мубараковского лишь некоторыми символическими изменениями. Были предприняты скромные попытки откорректировать направление внешней политики, но в целом Мурси действовал в рамках сформировавшихся альянсов Египта, особенно в отношении США и Израиля.

Если при Мубараке политика базировалась на интеграции панарабских лозунгов в саатовскую логику защиты национальных интересов, то правительство Мурси заменило панарабизм исламизмом, включив его в логику патриотического государства. Правительство Мурси, с одной стороны, было исламистским, а с другой, действовало в логике современного государства, защищающего национальные интересы. Предпочтение было отдано прагматичному подходу, а не идеологической позиции, что резко контрастировало с политическими декларациями «Братьев-мусульман». Встала реальная проблема: восстановление региональных и международных связей не должно наносить ущерба интересам и национальной безопасности Египта. В более широком плане Мурси было трудно примирить идеологию политического ислама с прагматизмом, необходимым для эффективного проведения внешней политики (Aly 2014: 2).

Получив в наследство политические проблемы и проблемы безопасности, Мурси должен был, кроме того, найти решения для стабилизации экономики. Заинтересованность в иностранных инвестициях связывала президенту руки при проведении революционной внешней политики. Это объясняет сохранение особых отношений Египта с Саудовской Аравией и другими странами Совета сотрудничества стран Персидского залива. Первый зарубежный визит Мурси

⁵ Amr Darrag. A Revolutionary Foreign Policy. *Foreign Policy*. 16.10.2012. URL: <https://foreignpolicy.com/2012/10/16/a-revolutionary-foreign-policy/> (accessed 15.08.2021)

⁶ Maha El-Kady. 2012. Egypt's Political Transition. *The Cairo Review of Global Affairs*. URL: <https://www.thecairoreview.com/texts/egypts-political-transition/> (accessed 15.08.2021)

нанёс в Саудовскую Аравию, которая вскоре предложила Каиру значительную финансовую помощь.

Преемственность «Братьев-мусульман» внешнеполитическому курсу Мубарака очевидна. Так, после своего избрания Мурси объявил, что Египет сохранит приверженность своим международным обязательствам и договорам, включая мирный договор с Израилем. Исламисты подчёркивали обязательный характер сохранения мирного договора, ссылаясь на Коран (Selim 2020: 13). Соответственно, правительство Мурси, выросшее из исламистского движения, столкнулось с противоречиями между прежними позициями и новыми реалиями. Причина заключалась в том, что для стабилизации экономического положения Египет нуждался в стабильных и предсказуемых отношениях с внешним миром.

Сохранялась также преемственность внешней политики в отношении Сирии и Ирана. По отношению к Сирии Мурси продолжил политику «Братьев-мусульман», выступив на стороне сирийской оппозиции, в которой доминировали поддерживаемые Катаром и Саудовской Аравией суннитские исламистские группировки, и выразив готовность направить войска для свержения Асада⁷. Таким же образом в отношении Ирана изменения внешнеполитического курса носили чисто символический характер. Мурси совершил визит в Тегеран в рамках саммита Движения неприсоединения, но при этом в своей речи резко раскритиковал региональную политику Ирана и его роль в сирийском кризисе, отмежевавшись от Тегерана, чтобы не раздражать Саудовскую Аравию.

О трансформации внешней политики Египта, ориентированной на идентичность в духе принципов «Братьев-мусульман», свидетельствуют усилия, направленные на достижение регионального лидерства (Grimm, Roll 2012: 1). Египет стремился укреплять отношения со странами, где у власти находились партии и движения, идейно или организационно близкие к «Братьям-мусульманам», с тем, чтобы в перспективе сформировать региональную ось в составе Египет – Турция – Катар – Судан – Тунис. В этой новой форме регионального порядка Египет рассчитывал играть ключевую роль. Однако на фоне острых внутренних проблем данная концепция не была реализована.

То же касалось и африканской политики, которой пренебрегал прежний режим. После свержения Мубарака разразился Нильский водный кризис, пошатнувший исторические права Египта на значительную долю водных ресурсов реки. Это вызвало возмущение как в обществе, так и среди политической элиты. Исторически Египет ревностно относится к попыткам пересмотра прав на использование вод Нила, поэтому и Мурси занял бескомпромиссную позицию по этой проблеме.

⁷ FSA praises Morsi's "historic" statements on Syrian regime. Al-Ahram. 16.06.2013. URL: <https://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/74115/World/Region/FSA-praises-Morsis-historic-statements-on-Syrian-r.aspx> (accessed 15.08.2021)

На глобальном уровне во время правления Мурси Египет проводил иную внешнюю политику по сравнению с политикой Мубарака, находясь в постоянном поиске новых потенциальных партнёров, чтобы способствовать экономическому росту и развитию путём привлечения инвестиций в страну и свести к минимуму зависимость Египта от иностранной помощи (Grimm, Roll 2012: 3). Концепция «Поворота на Восток» стала важной вехой во внешней политике Египта, и визит Мурси в Китай, как первая поездка президента за пределы Ближнего Востока, символизировал стремление к диверсификации экономических связей и привлечению дополнительного притока иностранных инвестиций. Поездка показала, что Египет рассматривает Азию, и особенно Китай, как важного политического и экономического партнёра. Отметим, что внешнеэкономическая стратегия Мурси поначалу не была нацелена на сохранение и улучшение отношений с США.

Однако кардинального изменения внешнеполитического курса Египта не произошло. В Вашингтоне стремились установить контакты с исламистами в контексте прагматичной политики, направленной на стабилизацию Египта. Не менее важно и то, что Соединённые Штаты рассматривали «Братьев-мусульман» как стратегическую опору своей региональной стратегии по объединению и мобилизации суннитских арабских сил для противостояния шиитскому Ирану и его союзникам (Selim 2020: 14). Со своей стороны, Мурси и «Братьям-мусульманам» необходимо было обеспечить признание Соединёнными Штатами своего прихода к власти в Египте.

В отличие от эпохи Мубарака, когда государственный патриотизм был движущей силой внешней политики, а панарабские лозунги формировали лишь внешний её слой, Мурси использовал исламскую идентичность для формирования контуров внешней политики. Он так и не смог примирить прагматизм, необходимый для эффективного проведения внешней политики, с идеологией политического ислама. Внешняя политика Мурси была, в целом, не идеологическая, а прагматическая и направлена на обеспечение будущего Египта, особенно в экономическом плане. Сложная внутривнутриполитическая ситуация, беспокойная обстановка в области безопасности, углубляющийся экономический кризис привели к снижению внутренней поддержки президента. Его внешнеполитический курс успеха не имел. Напротив, произошло ослабление позиций Египта в регионе и в мире в целом. В течение своего короткого президентского срока Мурси не смог взять контроль над основными инструментами внешней политики. Армия сохранила свою независимость, разведывательные структуры противились стремлению «Братьев-мусульман» к гегемонии, а бюрократия Министерства иностранных дел тайно сопротивлялась попыткам новых правителей Египта проникнуть в её ряды. Как отмечал бывший министр иностранных дел страны Набиль Фахми, Мурси был больше озабочен политикой, приоритетами и дискурсом «Братьев-мусульман», чем исполнением обязанностей президента (Ahmadian 2014: 23).

Новое видение идентичности при ас-Сиси: переход к «новому Египту»

Вступив в должность в июне 2014 г. после окончания периода правления временного правительства, президент Абдель Фаттах ас-Сиси поставил задачу расширения глобальных возможностей и защиты интересов страны, с опорой на традиции участия в различных конфигурациях международной системы (Алу 2014: 4–5). Принимая во внимание растущее влияние общественного мнения, президент предпринял множество шагов как внутри страны, так и за её пределами, чтобы укрепить сильные стороны внешней политики Египта, сочетая их с большей гибкостью и прагматизмом. Приход к власти президента А.Ф. ас-Сиси ознаменовался диверсификацией внешнеполитических связей, а также активизацией региональной политики, что можно рассматривать и как своего рода попытку компенсировать неудачи в решении проблем внутриполитического и социально-экономического развития.

Формулируя направление внешней политики Египта в эпоху после 30 июня 2013 г.⁸, ас-Сиси провозгласил, что национальные интересы Египта следует поставить выше интересов глобальных и региональных союзников. Ключевые принципы его доктрины: 1) сбалансированные отношения с великими державами и ключевыми региональными игроками, то есть стратегические отношения Каира с Вашингтоном не должны препятствовать развитию связей с другими мировыми державами, такими как Россия и Китай; 2) уважение традиционных представлений о суверенитете и невмешательстве, отказ от уступок внешним силам или державам при проведении внутренней политики Египта, в которую никто не должен вмешиваться; 3) утверждение националистического подхода к формированию внешней политики, т.е. подразумевается, что внешнеполитический курс на укрепление стабильности политического строя и усиление роли государства и подтверждение свободы манёвра Египта в региональной политике в условиях складывания новой конфигурации международных отношений в регионе и нового регионального порядка; 4) сосредоточение на борьбе с угрозами национальной безопасности и акцент на противостоянии трансграничному терроризму⁹. Заявления ас-Сиси косвенно отражают очень важную новую тенденцию: появилось понимание, что национальная безопасность отдельных арабских стран может быть достигнута только в рамках общей региональной системы безопасности¹⁰. На сегодняшний день идёт сложная дискуссия о создании и функционировании системы безопасности в регионе¹¹.

⁸ В этот день произошли события, ставшие прологом к отстранению организации «Братьев-мусульман» от управления страной, отставке президента Мухаммеда Мурси и возвращению к власти военных во главе с А.Ф. ас-Сиси.

⁹ Giuseppe Dentice. Shifting Priorities: The Evolution of Egypt's Foreign Policy. *ISPI*. 24.09.2020. URL: <https://www.ispionline.it/en/publicazione/shifting-priorities-evolution-egypts-foreign-policy-27409> (accessed 15.08.2021)

¹⁰ Sisi: Egypt and Saudi are leaders of Arab security. *AlArabiya News*. 30.07.2015. URL: <https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2015/07/30/FM-Egypt-Saudi-solidarity-key-to-protect-regional-security-> (accessed 15.08.2021)

Сиси без промедления заверил Израиль в приверженности своего правительства мирному договору 1979 г. между Каиром и Тель-Авивом, особенно с учётом актуальных проблем безопасности на Синайском полуострове. В основе доверия Тель-Авива к ас-Сиси лежит негативное отношение нового египетского президента к ХАМАС (тесные отношения Мурси и «Братьев-мусульман» с этим движением были источником постоянного беспокойства Израиля). Для разрешения вопросов раздела вод Нила президент стремится конструктивно взаимодействовать с Эфиопией и Суданом. Египет уже целое десятилетие ведёт безуспешные переговоры по снижению рисков от строительства ГЭС «Возрождение»¹². Каир с пониманием относится к доводам Эфиопии о том, что подобные проекты имеют решающее значение для роста её экономики, но в то же время он не намерен заключать соглашения, которые уменьшили бы его нынешнюю долю владений водными ресурсами Нила.

В связи с необходимостью уделять приоритетное внимание стабилизации экономики, правительство предприняло попытки улучшить восприятие страны иностранными инвесторами и туристами. Частично восстановить доверие, подорванное последствиями экономического кризиса, удалось благодаря щедрой помощи, которую предоставили Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт. Новому режиму удалось запустить ряд крупных инфраструктурных проектов.

В представлении ас-Сиси, стране нужно сменить имидж, с тем чтобы вместо религиозно ориентированного революционного государства на международную арену вышел «новый Египет», готовый ответить на политические и экономические вызовы, как и на вызовы в сфере безопасности, а каждый гражданин будет обладать многослойной идентичностью (Winter, Shiloah 2019: 70). Важным шагом в этом направлении стало утверждение национального плана устойчивого развития «Видение Египта – 2030», в котором провозглашены основные национальные цели: модернизация и реформа. Предусматривается поощрение активной гражданской позиции и позитивного участия всех слоёв общества в развитии страны. Пристальное внимание уделено вопросам расширения прав и возможностей, равенства и социальной справедливости¹³. Каир придаёт большое значение сотрудничеству с Международным валютным фондом (МВФ), полагая, что это сотрудничество поможет вернуть в страну иностранных инвесторов и туристов.

С 2011 г. геополитическая обстановка на Ближнем Востоке ухудшилась. В регионе много нестабильных государств: Ливия, Судан, Ирак, Сирия, Ливан и Палестина, что заметно повышает уязвимость Египта. Руководство страны

¹¹ Peter Jones. It is Time to Establish a Middle East Regional Security System. *The Cairo Review of Global Affairs*. 24.04. 2020 URL: <https://www.thecaireview.com/essays/it-is-time-to-establish-a-middle-east-regional-security-system/> (accessed 15.08.2021)

¹² Строящаяся крупнейшая гидроэлектростанция с в Эфиопии около границы с Суданом, расположена на реке Голубой Нил, правом притоке Нила. С 2011 г. является предметом спора между Египтом, Эфиопией и Суданом.

¹³ Egypt Vision 2030. URL: <https://mped.gov.eg/EgyptVision?lang=en> (accessed 15.08.2021)

рассматривает Ближний Восток и Северную Африку как регион хаоса, нестабильности и военных конфликтов¹⁴, выступая за политическое урегулирование кризисных ситуаций, за сохранение государственности и институтов власти в нестабильных странах¹⁵.

Неуверенность в своём политическом будущем отягощала публичный дискурс в Египте. В этих обстоятельствах ас-Сиси выдвинул три новые идеи: во-первых, египетская политика должна заняться управлением человеческим и материальным богатством страны; во-вторых, следует отказаться от изоляционизма, а вместо этого упрочить альянс с государствами Персидского залива с перспективой создания региональной системы безопасности¹⁶; в-третьих, пора прекратить навязчивое заикливание на прошлом, а перевести взгляд на будущее.

С приходом к власти ас-Сиси наблюдается гораздо более высокая степень ответственности между внешней и внутренней политикой страны. На Ближнем Востоке и в Северной Африке руководство Египта стремится генерировать новые подходы для закрепления своей роли в регионе через гибкую модель, которая содержит в себе основные компоненты национальной и внешнеполитической идентичности. Каир уделяет первостепенное внимание внутреннему развитию страны и одновременно работает над созданием благоприятной внешней среды для этой повестки, делая акцент на поддержании мира с Израилем и укреплении связей с арабскими государствами Персидского залива, которые рассматриваются как ключ к продвижению национальных интересов Египта не только в экономике, но и в перестройке отношений с Западом и даже с Африкой. Внутренние проблемы не позволяют Каиру проводить более самостоятельную политику, зачастую ему приходится жертвовать внешнеполитическими амбициями ради экономических выгод. Но если египетская экономика не будет способна удовлетворять потребности населения, в стране может подняться новая волна протестов. Поэтому А.Ф. ас-Сиси и его администрация и в дальнейшем будут прагматично подходить к региональной политике АРЕ, концентрируя усилия на борьбе угрозами стабильности (терроризм, исламский радикализм) и на углублении сотрудничества с государствами-донорами.

* * *

Проведённое исследование показало, что за период после обретения независимости внешнеполитические ориентиры Египта отражали различные установки лидеров страны, их понимание национальных интересов и конъюнктурных

¹⁴ Mohamed Kamal. 2018. The Middle East According to Egypt. *The Cairo Review of Global Affairs*. URL: <https://www.thecaireview.com/essays/the-middle-east-according-to-egypt/> (accessed 15.08.2021)

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Sara Kira. Analysis: Egypt and Regional Security. *Egypt Today*. 17.05.2017. URL: <https://www.egypttoday.com/Article/1/4915/Analysis-Egypt-and-Regional-Security> (accessed 15.08.2021)

потребностей. При всей изменчивости, внешнеполитический курс сохранял определённую преемственность, отражая роль Египта как лидера арабского мира. Готовность взять на себя бремя ответственности за судьбы региона проявлялась не у всех египетских лидеров. Соотношение представлений о Египте как о стране, движимой собственными интересами, или стране, играющей некую наднациональную роль, лежит в основе позиционирования АРЕ на внешнеполитической арене. Египетские лидеры пытались установить соответствие между требованиями своей эпохи и общественными запросами, что на практике оказалось крайне сложным делом.

Египет имеет долгую историю авторитарного правления, поэтому невозможно отделить национальную идентичность от внешнеполитической. Широчайшие полномочия президента страны в проведении внешней политики предопределяют исключительное влияние на неё личностного фактора. Как показано в настоящей работе, развитие идентичности через переопределение национальных интересов задавало направление внешней политики Египта, так что любая трансформация идентичности на уровне правящих элит меняла внешнюю политику Египта. Другими словами: поскольку идентичности определяют интересы, каковые, в свою очередь, формируют внешнюю политику, постольку фундаментальные изменения во внешней политике Египта прослеживаются в изменении идентичности.

Несмотря на эти ограничения, пример Египта показывает, что факторы политической идентичности, такие как роль лидера, чрезвычайно важны при формировании внешней политики страны, хотя и не имеют решающего значения в каждом конкретном случае.

Об авторе:

Ибрагим Эминович Ибрагимов – младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН. E-mail: lbragim07_93@mail.ru

Конфликт интересов:

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов

UDC: 329.73
Received: June 11, 2021
Accepted: August 10, 2021

The Role of Leaders in Formulation of the Foreign Policy Identity in Egypt

I.E. Ibragimov
[DOI 10.24833/2071-8160-2021-4-79-90](https://doi.org/10.24833/2071-8160-2021-4-79-90)

Institute of World Economy and International Relations of the Russian Academy of Sciences (IMEMO)

Abstract: The features of the formation of the of the state explains the high level of interest in this scientific problem in the modern theory of international relations. The study of foreign policy identity is capable of providing an understanding of the policy-making activity of the state and its positioning in the international arena.

The process of forming a foreign policy identity linked to both objective and subjective factors. The objective factors should be classified as geographical, historical, cultural and religious, the key subjective factors can be considered the role of a leader.

This factor is standard for Middle Eastern states, especially for Egypt, where there are traditions of strong centralized powers. Egyptian leaders have supreme power in foreign policy decisions within the framework of the political system. Egypt's foreign policy is often determined by the personal character traits of the country's leaders.

This article aims to study the role of the head of the Egypt in the search for foreign policy identity in the context of an identity crisis at the national level. Egypt has a long history of authoritarian rule, because it is impossible to separate national identity from foreign policy identity. Since its independent existence, each period with its own context established a different framework of identity and worldview for decision-makers in the field of Egypt's foreign policy. The predominance of various elements in ideological as well as worldview in the age of the rule of a particular president has led to noticeable differences in Egypt's foreign policy at the current stage.

This article attempts to answer the following research questions: What place does of the institute of the heads of State in foreign policy decisions? How leader's influence does determine the foreign policy role of the state? What changes in foreign policy priorities have taken place during the analysis period? What are the reasons for the differences between the main periods of Egypt's foreign policy in goals, tools and approaches to the outside world? The author comes to the conclusion that the change of the political leader plays an important role in the transformations of Egypt's foreign policy. The article analyzes the main trends in the foreign policy self-perception of Egypt in order to confirm the hypothesis that the foreign policy identity of Egypt had not evolved a discontinuity even in the conditions of dramatic events, whether it is the Arab-Israeli conflict, the Peace treaty with Israel or the events of the Arab Spring.

Keywords: foreign policy identity, role of leadership, Egypt, foreign policy, Middle East

About the author:

Ibragim E. Ibragimov – Junior Research fellow at the Center for the Middle East Studies, IMEMO RAS. E-mail: ibragim07_93@mail.ru

Conflict of interests:

The author declares the absence of conflict of interests.

References:

- Ahmadian H. 2014. Egyptian Foreign Policy Identities. *Iranian Review of Foreign Affairs*. 5(3). P. 5-31.
- Aly A. M.S. 2014. Post-Revolution Egyptian Foreign Policy. *Middle East Brief*. №86. P. 1-100
- Chen T. 2011. Four Points toward the Understanding of Egypt's Foreign Relations. *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)*. 5(1). P. 83-101. DOI: 10.1080/19370679.2011.12023175
- Droz-Vincent P.A. 2012. Post-Revolutionary Egyptian Foreign Policy? Not Yet. *The German Marshall Fund of the United States (GMF)*. P. 1-3.
- Duman A.H. 2020. Leaders and Egyptian Foreign Policy: Individual Factors During Nasser and Morsi Periods. *Ortadoğu Etütleri*. 12(2). P. 369-389.
- Dyson S. B., Preston T. 2006. Individual Characteristics of Political Leaders and the Use of Analogy in Foreign Policy Decision Making. *Political Psychology*. 27(2). P. 265-288. DOI: 10.1111/j.1467-9221.2006.00006.x
- Grimm J., Roll S. 2012. Egyptian Foreign Policy under Mohamed Morsi: Domestic Considerations and Economic Constraints. *SWP Comments*. №35. P. 1-3.
- Hermann M.G. 1980. Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders. *International Studies Quarterly*. 24(1). P. 7-46. DOI: 10.2307/2600126
- Hermann M.G., Hermann C.F. 1989. Who Makes Foreign Policy Decisions and How: An Empirical Inquiry. *International Studies Quarterly*. 33(4). P. 361-387. DOI: 10.2307/2600518
- Hinnebusch R.A., Ehteshami A. 2002. *The Foreign Policies of Middle East States*. Lynne Rienner Publishers. 381 p.
- Hinnebusch R. 2003. *The International Politics of the Middle East*. Manchester University Press. 262 p.
- Karawan I. 2005. Foreign Policy Restructuring: Egypt's Disengagement from the Arab-Israeli Conflict Revisited. *Cambridge Review of International Affairs*. 18(3). P. 325-338. DOI: 10.22718/kga.2019.3.1.183
- Karawan I.A. 1994. Sadat and the Egyptian-Israeli Peace Revisited. *International Journal of Middle East Studies*. 26(2). C. 249-266.
- Khawaja N.A. 2013. Egypt's Foreign Policy Analysis: From Nasser to Morsi. *Pakistan Horizon*. 66(1/2). P. 43-63.
- Korany B. 2012. *Egypt: Between Overstretch and Pivotalness in Its Foreign Policy. Diplomacy and Developing Nations: Post-Cold War Foreign Policy-Making Structures and Processes*. Routledge. 296 p.
- Mellor N. 2015. *Egyptian Dream*. Edinburgh University Press. 200 p.
- Nasser G.A. 1959. *The Philosophy of the Revolution*. New York. 119 p.
- Nixon R. 2013. *Leaders: Profiles and Reminiscences of Men Who Have Shaped the Modern World*. Simon and Schuster.
- Sabet A.G.E. 2017. Geopolitics of identity: Egypt's lost peace. *Contemporary Arab Affairs*. 10(1). C. 51-92.
- Selim G.M. 2020. Egyptian Foreign Policy after the 2011 Revolution: the Dynamics of Continuity and Change. *British Journal of Middle Eastern Studies*. P. 1-22. DOI: 10.1080/13530194.2020.1747983
- Shalaby E.S.A. 1992. Egypt's Foreign Policy 1952-1992: Some Personal Reflections. *Bulletin of Peace Proposals*. 23(3). P. 107-115.

Shama N. 2013. *Egyptian Foreign Policy from Mubarak to Morsi: Against the National Interest*. Routledge. 280 p.

Telhami S., Barnett M.N. 2002. *Identity and Foreign Policy in the Middle East*. Cornell University Press. 224 p.

Blizhnij Vostok: Politika i identichnost' [The Middle East: Politics and Identity]. 2020. Collective monograph edited by I. D. Zvyagelskaya. IMEMO RAS. Moscow: Publishing house "Aspect Press". 336 p.

Vinogradov V.M. 2012. *Egipet: Ot Nasera k Oktyabr'skoj vojne*. Iz arhiva posla [Egypt: from Nasser to the October War]. From the ambassador's archive. Moscow: IV RAS. 216 p.

Drobot G. A. 2018. Ponyatie liderstva i inyh form vlasti i vliyaniya v mirovoj politike [The Concept of Leadership and Other Forms of Power and Influence in World Politics]. *Economics and Management: Problems, Solutions*. 3(3). P. 9-13.

Zvyagelskaya I. D. et al. 2019. Gosudarstva Blizhnego Vostoka v poiskah vneshnepoliticheskoy identichnosti [The States of the Middle East in Search of a Foreign Policy Identity]. *World Economy and International Relations*. 63(9). P. 93-103. DOI: 10.20542/0131-2227-2019-63-9-93-103

Rozhkova L. V. 2018. Rol' politicheskogo lidera v formirovanii vneshnepoliticheskogo kursa [The Role of a Political Leader in Shaping the Foreign Policy Course]. *Bulletin of the Penza State University*. 1(21). P. 50-53.

Hermann M. D. 1991. Stili liderstva v formirovanii vneshnej politiki [Leadership styles in the formation of Pforeign policy]. *Polis. Political Studies*. 1(1). p. 91-98.

Список литературы на русском языке:

Ближний Восток: Политика и идентичность. 2020. Коллективная монография под ред. И.Д. Звягельской. ИМЭМО РАН. Москва: Издательство «Аспект Пресс». 336 с.

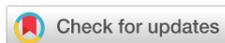
Виноградов В.М. 2012. *Египет: От Насера к Октябрьской войне*. Из архива посла. Москва: ИВ РАН. 216 с.

Дробот Г.А. 2018. Понятие лидерства и иных форм власти и влияния в мировой политике. *Экономика и управление: проблемы, решения*. 3(3). С. 9-13.

Звягельская И.Д. и др. 2019. Государства Ближнего Востока в поисках внешнеполитической идентичности. *Мировая экономика и международные отношения*. 63(9). С. 93-103. DOI: 10.20542/0131-2227-2019-63-9-93-103

Рожкова Л.В. 2018. Роль политического лидера в формировании внешнеполитического курса. *Вестник Пензенского государственного университета*. 1(21). С. 50–53.

Херманн М.Д. 1991. Стили лидерства в формировании внешней политики. *Полис. Политические исследования*. 1(1). С. 91–98.



Языковая политика как инструмент формирования гражданской идентичности: на примере Боснии и Герцеговины

Т.И. Попадьева

Институт системно-стратегического анализа

Гражданская идентичность является одним из значимых факторов современной политической практики. Формирование и развитие идентичности больших национальных групп сегодня всё меньше основывается на культурно-историческом фундаменте и всё более зависит от политических технологий. В их ряду важное место занимает конструирование новых языков. Статья посвящена комплексному исследованию боснийской языковой политики, которая вопреки идее формирования общей гражданской идентичности становится фактором создания «кузницы ненависти». Опираясь на конструктивистские теории, автор обобщает боснийские языковые практики и рассматривает их через призму символического интеракционизма и системы отрицательной обратной связи. Особое внимание уделено ситуациям, когда стремление к эффективной коммуникации мотивирует носителей языка отказываться от этнически окрашенных лингвистических маркеров, а также случаям, в которых язык выступает в качестве защиты от внутреннего «другого». Применяя критерии разграничения языка и диалектов, автор приходит к выводу, что фонетический принцип формирования сербохорватского языка позволил после разрушения Югославии превратить данный лингвистический континуум в инструмент по размежеванию граждан одной страны. Подобный опыт полезен для анализа политизации литературных трактовок и языковых норм в других регионах мира, где также есть примеры роста ксенофобии, национализма и нетерпимости как результата разграничительной языковой политики.

Ключевые слова: гражданская идентичность, языковая политика, образ «другого», сербохорватский язык, Балканы, Босния и Герцеговина

Пока лингвисты спорят о том, существует ли один или четыре языка на пространстве бывшей Югославии (сербский, хорватский, боснийский, черногорский), на политическом уровне ответ уже определён: если есть государство, имеющее название по доминирующей этнической группе его населяющей, то эта этническая группа должна иметь собственный язык. Для

УДК: 325.3

Поступила в редакцию: 25.06.2021 г.

Принята к публикации: 21.07.2021 г.

политиков совершенно не важно, что отличия нового языка от материнского основаны исключительно на диалектах и часто придуманных на скорую руку грамматических правилах.

«Чересполосное проживание народов с разными историческими судьбами, объединёнными, в сущности, одной общей судьбой, имя которой “балканизация”» (Пономарева 2013: 82), определило, с одной стороны, необходимость выработки общего средства коммуникации; с другой – консервировало множественные диалекты. Основы единого сербохорватского языка были заложены в начале XIX в. сербским просветителем Вуком Караджичем. В 1850 г. сербскими и хорватскими интеллектуалами было подписано Венское литературное соглашение о создании единого литературного языка. Во второй половине XIX в. произошла дополнительная кодификация сербохорватского языка на основе стандарта Караджича. Одновременно существовали (в ограниченном масштабе) и другие литературные нормы на основе диалектов этой зоны (например, кайкавский литературный язык был распространён на северо-востоке Хорватии, в приграничных районах с Венгрией и в Румынии). Во время существования фашистского Независимого государства Хорватия усташи путём введения большого количества неологизмов попытались искусственно выделить хорватский из сербохорватского. После окончания Второй мировой войны практически все искусственно внедрённые слова прекратили существование.

В 1954 г. было заключено Новисадское соглашение, признавшее существование хорватского и сербского вариантов *одного* сербохорватского языка, который имел две нормы произношения – экавскую и иекавскую, а кириллический и латинский алфавиты признавались равноправными в ареале своего использования (Секулић 1966). Политико-юридический статус сербохорватского как государственного языка СФРЮ был закреплён в Основном законе страны.

Разрушение социалистической Югославии не только повлекло за собой кровопролитные войны за территории, но и привело к языковому размежеванию. В каждой новой республике было принято политическое решение о языке. В настоящее время в Боснии и Герцеговине говорят на боснийском (босанском), в Сербии – на сербском, в Хорватии – на хорватском, в Черногории – на черногорском. Таким образом, один сербохорватский язык стал базой для трёх новых; сербский после размежевания практически не изменился; устаревшими признаны ряд традиционно хорватских слов (Tošović, Wonisch 2012: 126-127).

Отдельно стоит отметить, что основным принципом Караджича при создании единого языка стал фонетический – «пиши, как говоришь». Это принципиальной важности решение упростило кодификацию языка и позволило максимально упростить чтение и письмо на нём (Selimović 1987: 20). Однако в XIX в. именно фонетический принцип написания позволяет превращать особенности произношения сербохорватского языкового континуума в литературные нормы уже разных языков.

В данной связи представляется важным рассмотреть причины, из-за которых боснийские политики проигрывают символическую борьбу в создании общепоснийской гражданской идентичности, политизируя языковые нормы. С этой целью необходимо рассмотреть основополагающие исторические и политические нарративы языковой политики как на Балканах в целом, так и в Боснии и Герцеговине, в частности.

Научный интерес к вопросам влияния языковой политики на формирование гражданской идентичности на Балканах всегда был высоким и до сих пор вызывает острые споры среди лингвистов, социологов политологов как зарубежных, так и отечественных. Так, в свете исследования данного вопроса интересными представляются работы балканских авторов, являющихся носителями «спорной» языковой идентичности, таких как Р. Бугарски (Бугарски 2012; 2017), Б. Тошович (Тошович 2012), С. Халибашич (Халибашич 2018), М. Капович (Капович 2011), Р. Матасович (Матасович 2001), М. Митрович (Митрович 2004). Несмотря на то, что учёные соглашались с тем, что появившееся народы ищут легитимацию своей идентичности в исторических нарративах и используют язык(и) в качестве политического и идеологического оружия, мнения относительно генезиса сербохорватского языкового континуума и перспективы развития языковой политики в Боснии разнятся кардинально, рифмуясь уже в научных дебатах с этнополитическим конфликтом в стране. Также важное место в полемике о языковой полифонии на Балканах занимают работы западных и отечественных авторов: Р. Александера (Александр 2010), К. Кармайкла (Кармайкл 2000), М. Малаботта (Малаботт 2004), Г.Г. Тяпко (Тяпко 2006). Анализом общей теории лингвоэтничности занимались Г. Джайлс (Джайлс 1977; 1981; 1987), Р. Гринберг (Гринберг 2009), Д. Эдвардс (Эдвардс 2009), чьи исследования, хоть и не полностью, могут экстраполироваться на случай БиГ.

Исследование языковой политики в контексте формирования гражданской идентичности в стране со сложным этническим, культурным, религиозным составом и противоречивым прошлым демонстрирует необходимость не только полагаться на периодические переписи населения, законодательные акты в разные исторические периоды и научные дискуссии в рамках обособленных парадигмальных подходов, но обращаться к языку как к социальному конструкту, анализ которого возможен на основе синтеза социально-психологических, культурных, антропологических и политических идей. Мультидисциплинарное исследование языковой политики позволит объяснить, почему Босния и Герцеговина стала сегодня местом «лингвистического апартеида» (Bugarski 2012: 233).

Методологическая рамка исследования

Гражданская идентичность (ГИ) представляет собой многомерное социальное явление. Несмотря на регулярные попытки операционализации в рамках различных социальных дисциплин (социальная психология, социология, ан-

тропология, культурология, политология (Ачкасов 2013; Горшков, Тюрина 2018; Нойманн 2004; Семенов, Фадеева 2011; Petrović 2006)), гражданская идентичность, как и феномен идентичности в целом, является источником многочисленных дилемм. Столь сложная и потому междисциплинарная проблема требует особого аналитического подхода, особенно с учётом того, что существенная роль в формировании ГИ вне зависимости от страны и исторического наследия конкретного общества принадлежит языку.

В качестве методологической рамки исследования проблемы влияния языковой политики на формирование гражданской идентичности наибольшую эвристическую ценность представляет конструктивизм. Конструктивисты уделяют особое внимание роли «языка», «лингвистических конструкций» и «социальных дискурсов» в формировании социальной реальности и идентичности. В конструктивистской парадигме доминируют постпозитивистские и интерпретивистские подходы, а наряду с дедуктивной широко используется индуктивная (снизу вверх) стратегия исследования (Алексеева 2019: 299).

Данный подход объединяет различные парадигмальные школы: веберовскую интерпретативную социологию и символический интеракционизм, вебленовский институционализм, постструктурализм и герменевтику (Mead 1934: 33–47). Не менее значима опора его сторонников на интересубъективное измерение человеческой деятельности. Поскольку люди – культурные существа, наделённые способностью и готовностью обдумывать отношение к миру и придавать ему смысл, на первый план для конструктивистов выходят социальные факторы, которые не осязаемы в материальном мире, но напрямую зависят от человеческого согласия и обусловлены существованием социальных институтов. Эту мысль чётко зафиксировал А. Вендт: «Фундаментальным принципом конструктивистской социальной теории является то, что люди действуют по отношению к объектам, включая других акторов, на основе смыслов, которые для них имеют эти объекты» (Wendt 1992: 394).

В свою очередь язык и политика его кодификации являются одним из инструментов идентификации общества. Так, несмотря на примордиалистский подход к изучению истории формирования языковых особенностей и норм, на современном этапе развития языков уместно признавать языковую политику государств маркером гражданской идентичности.

Теоретики идентитарных исследований выделяют две научные концепции, определившие становление современного представления об идентичности. Первая – символический интеракционизм, который отвечает на вопросы о процессах формирования идентичности и функционирования идентичности (Дж. Мид). Вторая – теория перцептивного контроля, разработанная У. Пауэрсом. Она изучает природу системы контроля и объясняет «установки» и «намерения», лежащие в основе всего живого. Эти идеи служат фундаментом для понимания процессов функционирования идентичности (Burke, Stets 2009: 33–47).

Термин «символический интеракционизм» был предложен Г. Блюмером (Blumer 1962: 179–192) при толковании концепции Дж. Мида. Последний рассматривал уникальный характер человеческого взаимодействия через использование общих символов. Символы в его понимании могут обозначать объекты и события, причем как физически существующие, так и отсутствующие в реальности.

В работе 1934 г. «Разум, я и общество» Мид утверждает, что формирование разума и Я человека есть продукт социальной стороны жизни (Mead 1934: 135–144). По мнению учёного, разум и Я человека встроены в общество и развиваются посредством общения и взаимодействия с другими. Разум адаптивно соотносит индивида с той социальной группой, к которой он принадлежит. Мид полагал, что личность постоянно приспосабливается к окружению благодаря селективной функции разума, ограничивающей наше внимание и восприятие. В этом процессе особенно важна рефлексивность самосознания: способность разума созерцать себя в целом, а также воспринимать социальные установки других индивидов внутри общества, членом которого индивид является (Mead 1934: 164–178). Таким образом, именно рефлексивность разума является связующим звеном символического интеракционизма и теории идентичности.

Человек неразрывно связан с культурой своего окружения, и для познания мира и других он использует понятия, категории и классификации, которые приняты представителями его социальной группы. Центральным в процессе восприятия понятий является идея общепризнанных значений (*shared meanings*), для которой Мид вводит категории *знака* и *символа*. По его мнению, большую роль в унификации восприятия индивида и возникновении общепризнанных значений играет имитация. Индивид наблюдает за реакцией другого на определённую ситуацию/стимул, и эта реакция становится частью поведенческого репертуара наблюдателя. Когда ситуация повторяется, индивид имитирует наблюдаемую ранее реакцию. Так он становится частью общности, а имитируемая реакция – общепринятой.

В этой связи на первый план выходит язык коммуникации, представляющий набор значимых символов, значения которых общеприняты и используются всеми членами сообщества. Символический интеракционизм, как правило, фокусируется в первую очередь или даже исключительно на символах, потому что они формируют основу мышления, языка, общения и взаимодействия.

Связь между языком и реальностью как зеркало, она отражает всё, что происходит в жизни общества. Это может вызывать у носителей как глубокое эмоциональное чувство принадлежности, так и побуждать нетерпимость, агрессию, стремление определять границы, когда язык игнорирует комплексность жизни в полиэтничном обществе и становится идеологическим оружием (Malabotta 2004: 78).

Помимо идей символического интеракционизма в теории идентичности также используется концепция систем контроля, основанная на идее «отрица-

тельной обратной связи» Н. Винера (Weiner 1948: 14–16) для контроля производительности систем. Идея заключалась в контроле количества пара, поступающего в систему двигателя, исходя из выходных оборотов. Например, если выходной сигнал показывает слишком большую нагрузку на двигатель, то система отрицательной обратной связи (ООС) уменьшает поток пара на входной стороне. И наоборот, если вывод системы был слишком медленным, ООС позволяет автоматически увеличить поток. Таким образом, система управления такого рода контролирует свои результаты путём надлежащего использования обратной связи. На выходе система показывает стабильный результат, в то время как входные данные нестабильны и непредсказуемы.

У. Пауэрс предложил использовать ООС при анализе живых систем (людей и их поведенческих механизмов), указав на то, что людям важен не контроль над выходом или реакцией. Им скорее необходим контроль над восприятием или входом в систему. Поведение людей «на выходе» довольно изменчиво, но именно непредсказуемость действий противодействует изменчивости ситуации «на входе». Факторы, создающие вариативность ситуации «на входе», Пауэрс назвал «нарушениями». Противодействие нарушений результатам «на выходе» (результаты реакции) позволяет индивиду воспринимать социальные процессы в их единообразии, постоянстве и предсказуемости (Powers 1973).

Идея ООС пересекается с концепцией Мида о координации восприятия и действия, которая позволяет людям адаптироваться к внешним и внутренним изменениям для достижения своих целей. Учёные сходятся в том, что индивид управляет не своим поведением в ситуации, а своим восприятием окружающей действительности, что позволяет ему изменять свои действия, приводя восприятие в соответствие с заданной точкой (целью). С помощью контроля восприятия люди подстраиваются под «нарушения» нестабильной, вариативной системы.

Именно поэтому идентичность как социальный конструкт делает политику государств более предсказуемой. С одной стороны, она служит, чтобы обозначить культурные, социальные, метафизические границы государства для внешних игроков; с другой – объясняет своим гражданам, кто такие «другие» (Малинова 2015: 154–169). Кроме того, сконструированная идентичностью реальность позволяет носителям определённой социальной общности выбирать общепринятые стратегии поведения для достижения конкретных целей. Получается, что коллективная идентичность определяется скорее разделяемыми идеями, нежели материальными силами, а интересы носителей общей идентичности конструируются именно разделяемыми идеями, а не даны природой (Алексеева 2019: 308–309).

Опираясь на идентитарные теории, Г. Джайлс с соавторами (Giles et al. 1977; Giles, Johnson 1981) разработали этнолингвистическую концепцию идентичности, которая объясняет положение языка в полиэтнических обществах, определяя жизнеспособность языка отдельной этнической группы как средства внутри- и межэтнической коммуникации. Данная парадигма объясняет как

краткосрочные взаимодействия на индивидуальном уровне, так и долгосрочные групповые тенденции сохранения языка или отказа от него. Исходя из эмпирических данных (Giles, Johnson 1987: 69–100), полученных в ходе опросов молодых людей Уэльса, которые определяли себя как валлийцы, использовали валлийский язык в повседневном общении и посещали двуязычные школы, Джайлс установил, что этническая идентичность проявляется через язык в ситуациях, когда носители идентичности ощущают угрозу со стороны доминантной лингво-этнической группы. Однако в то же самое время было выявлено, что в ситуациях, когда необходимо поддержать эффективную коммуникацию и когда этническая идентичность отходила на второй план на фоне профессиональной или социальной идентичности, респонденты использовали язык доминантной группы, не испытывая ущемления своей лингво-этнической идентичности.

Отсюда можно сделать вывод, что использование языка определённой этнической группой как инструмента противостояния доминантной (внутренним «другим») укладывается в рамку идеи «отрицательной обратной связи»: использование языка не является принципиальным до тех пор, пока не происходит политизация этничности. Когда респонденты не чувствовали себя равными с доминантной группой, они начинали акцентировать внимание на своей этнической принадлежности в первую очередь через язык.

Одним из показательных случаев, демонстрирующих важность языка в формировании гражданской идентичности, является современная Босния и Герцеговина. Дополняя установки этнолингвистической теории эмпирическими данными, можно с минимальной долей погрешности спрогнозировать результаты проводимой в стране языковой политики.

Языковая полифония на Балканах

На протяжении всей истории существования литературного стандарта сербохорватского языка лингвисты признавали существующие различия между сербским и хорватским вариантами. Однако в рамках общего государства этот факт не был определяющей основой идентификации. Между тем уже в процессе разрушения Югославии наличие таких особенностей позволило и Сербии, и Хорватии вести национальную языковую политику, работая над расширением и углублением отличий литературной нормы хорватского и сербского. В Боснии и Герцеговине (БиГ), которая демонстрирует «устойчивую связь фактора этнополитической конфликтности с проблемной, слабой и протекторатной государственностью» (Пономарёва, Попадьева 2018: 64), по Дейтонским соглашениям политическое оформление получили три этнические группы – сербы, хорваты и бошняки (этнические сербы, принявшие ислам), последние стали настаивать на выделении боснийского языка. Как пишет хорватский исследователь М. Капович (Karović 2011: 130), стандартизация боснийского варианта языка основывалась на введении заимствованных слов из турецкого (историческое про-

шлое региона связано со значимым влиянием Османской империи), а также адаптации существующих лексем к турецкому стандарту. Например, в Боснии для обозначения кофе бошняки используют слово «kahva» наряду с хорватским вариантом «kava» и сербским «kafa» (Greenberg 2009: 205).

Размышляя о том, можно ли считать новоязы на территории бывшей Югославии вариантами одного языка, Р. Матасович (Matasović 2001: 15–18) предлагает четыре критерия разграничения языка и диалектов: структурный, критерий взаимной понятности, генетический и критерий идентификации.

Изучая структуру языков БиГ, можно выделить различия на уровне лексики и грамматики, но их явно недостаточно, чтобы говорить, что структуры языков разные и, соответственно, перед нами три разных языка (Тошович 2012; Stets, Biga 2003). Интересный инструмент для сравнения языков предложил американский лингвист Моррис Сводеш, который разработал список базовых лексем (Swadesh 1971: 283) важнейшей («ядерной») лексики из 100 слов (используют также списки из 200 и 207 слов). По списку Сводеша боснийский, сербский и хорватские языки являются идентичными.

Взаимная понятность в случае сербского, хорватского и боснийского кажется самоочевидной, однако здесь следует уточнить – речь идёт только о литературной норме. Поскольку язык южных славян долго существовал лишь в разговорной форме, приграничные территории бывшей Югославии «обросли» диалектами, сформировавшимися под влиянием соседних языков. Например, сербам из Белграда может быть сложно понять жителей Южной Сербии, говорящих на торлакском диалекте, который ближе к македонскому и болгарскому языкам. Однако сербу из Нови Сада и хорвату из Загреба не придёт в голову использовать иностранный язык-посредник (например, английский), потому что де-юре они говорят на разных языках.

Третий критерий – генетический. Учёные сходятся во мнении, что три языка БиГ произошли из одного источника и генетически близки: их стандарты исторически связаны со штокавской диалектной базой (Тяпко 2006: 153–173). Штокавское наречие является диалектной основой кодифицированного общенационального литературного языка и имеет самую большую социолему в Сербии, БиГ, Черногории и Хорватии (где также со штокавицей сосуществуют кайкавский и чакавский диалекты) (Тяпко 2006: 154-155).

Последний критерий, который предложил Р. Матасович – идентификационный. Он определяет то, как сами носители воспринимают язык, на котором говорят. По этому критерию сербский и хорватский сегодня были бы, несомненно, разными языками, поскольку носителей разделяют границы их государств и этническая принадлежность. Однако, когда речь заходит о боснийском языке, субъективные впечатления говорящего о своем языке в БиГ противоречивы и неоднозначны, а потому не могут сконструировать языковую реальность на том уровне, чтобы использовать идентификационный критерий для кодификации боснийского языка.

Идентификационный критерий сознательно подогревается в БиГ. В конце 2019 г. вышел художественный сериал «Školokrečina» (что является игрой слов škola – «школа» и žabokrečina – «болото», «заводь», «рутина»), основанном на диссертации Ненада Величковича «Идеологическая инструментализация литературы на примерах учебников от 5 класса начальной до 4 класса средней школы в Боснии и Герцеговине». В диссертации и в сериале анализируются учебники, используемые в обычных классах в БиГ. На боснийских, хорватских и сербских учебных программах наглядно показано множество примеров политизации литературных трактовок и языковых норм, что приводит к росту ксенофобии, национализма и нетерпимости и, по сути, делает систему образования «кузницей ненависти». Интересно, что сериал построен на последовательной демонстрации уроков боснийской, хорватской и сербской литературы в одном классе, но молодые актеры каждый раз играют представителей разных этнических групп. Безусловно, помимо очевидного посыла о том, что ученики не так различаются, как это пытаются представить политики и редакторы учебников, подобная смена этнических масок может также объясняться тем, что стигматизация другого менее страшная и болезненная.

Через сатиру и гиперболизированные разделения в учебниках общей истории на хорватскую, сербскую и боснийскую показано, как система образования, несмотря на попытки учеников в сериале найти общее и осознать себя как жителей Боснии и Герцеговины, формирует внутренних «других», делая акцент на отрицательной самоидентификации школьников.

Например, в пятой серии на уроке боснийской литературы обсуждается эпизод сватовства героя устного средневекового эпоса Будалина Тале к девушке другой веры. Ученики задаются вопросом: «В какую школу пойдут дети героев эпоса, если события происходили бы в наши дни: в боснийскую или хорватскую?». Радикально настроенная часть класса предлагает, чтобы этническая принадлежность детей определялась по отцу, и дети, соответственно, будут обучаться как бошняки. В то же время другие ученики предлагают отказаться герою от помолвки и выбрать невесту своей веры, чтобы избежать проблем. На вопрос учителя, как можно в Боснии при знакомстве узнать, к какой этнической группе относится понравившаяся девушка, ученики отвечают, что нужно спросить, какую литературу она читала в школе¹. Данный феномен разделения образования особо проявляется в Федерации БиГ, где он получил название «Две школы под одной крышей»: представители двух этнических групп энтитета посещают уроки в одном здании, но учатся по разным учебным планам.

Большое внимание в сериале «Školokrečina» также уделено языковой политике и различиям трёх функционирующих в школе языков. Например, во вто-

¹ Peta epizoda, serija «Školokrečina». URL: <https://www.youtube.com/watch?v=dvxWm0yNWww> (дата обращения: 18.08.2021).

рой серии² на уроке сербской литературы учительница просит назвать исконно сербское слово. Когда выясняется, что все общеупотребительные слова, которые называют ученики, имеют иноязычные корни (заимствованы из турецкого, немецкого, французского, греческого, латинского), учительница обещает поставить пятерку за год тому, кто сможет сказать целое предложение, используя только сербские слова. Комичность ситуации также и в том, что ученики называют слова, которые могли бы определить их сербскую идентичность: название блюд национальной кухни, религиозные символы, феномены социальной жизни. Проводя мысленный эксперимент со школьниками в других странах, например, в России, и поиском исконных слов их языка, можно прийти к выводу, что любой ученик имел бы трудность разграничения давно заимствованных лексем от исконных в своём языке. Однако разница со школьниками в БиГ в том, что в других странах вопрос заимствования слов не стоит так остро, не воспринимается как угроза со стороны другой этнической группы в размывании границ собственного языка, а носители не отказываются от использования общеупотребительных лексем из-за того, что они были заимствованы из языка соседнего народа.

Попытки унификации языков встречаются и сегодня, но на фоне политизации этнического фактора остаются безуспешными. Например, три года назад была разработана Декларация об общем языке. Это программный текст о гипотетическом общем языке, на котором говорят в БиГ, Хорватии, Сербии и Черногории. Документ был опубликован 30 марта 2017 г. за подписью более 200 видных боснийских, хорватских, сербских и черногорских учёных, журналистов, литераторов, историков. К октябрю того же года декларацию подписали всего 8,5 тыс. человек³. Однако идея подверглась острой критике со стороны отдельных политиков и лингвистов, выступающих с позиции «язык – часть суверенитета страны» и осталась призывом.

Таким образом, языковая кодификация основывается не только на лингвистических критериях. Часто на первый план выходит критерий языковой идентичности, а также социально-политическая рамка, в которой существуют носители того или иного языка. Причём речь идёт не только о языковой политике в странах бывшей Югославии.

Например, в Кении есть язык *mijikenda*, который дословно переводится как «речь девяти деревень». Действительно, на территории девяти кенийских деревень говорят на одном языке с небольшими различиями, однако носители

² *Druga epizoda, serija «Školokrečina»*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=yYHGRC80TSA&t=37s> (accessed 18.08.2021).

³ Декларaciju o zajednickom jeziku dosad potpisalo vise od dvjesto strucnjaka iz regije. *Radio Sarajevo*. URL: <https://radiosarajevo.ba/metromahala teme/deklaraciju-o-zajednickom-jeziku-dosad-potpisalo-vise-od-dvjesto-strucnjaka-iz-regije/257664> (accessed 18.08.2021).

mijikenda утверждают, что говорят на разных языках, а также отказываются от попыток стандартизировать *mijikenda* (Buzási 2016).

Интересное сравнение языковой ситуации в странах бывшей Югославии предлагает М. Капович (Karović 2011: 139), проводя параллель с урду в Пакистане и хинди в Индии. Урду и хинди имеют идентичную основу и взаимопонимаемы носителями, однако по-разному стандартизированы. Говорящие на урду – мусульмане, а говорящие на хинди – индуисты, так же как, например, хорваты традиционно являются католиками, сербы – православными, а бошняки – мусульманами. Влияние религии заметно и в написании двух языков: в урду используется арабская вязь, а в хинди – деванагари, один из индийских алфавитов, подобно тому, как в хорватском и босанском вариантах используется латиница, а в сербском – кириллица (причём, несмотря на признание латиницы в Сербии, в Республики Сербской используется только кириллица). Кроме того, на уровне культурной и цивилизационной лексики на урду большое влияние оказывает арабский язык, в то время как в хинди эту роль играет санскрит. Ту же тенденцию отмечают в босанском варианте, где всё больше появляется турецизмов, тогда как сербский и хорватский основываются на латинских и греческих заимствованиях соответственно.

* * *

Проведённый анализ лингвистической политизации в Боснии и Герцеговине позволяет сделать вывод о том, что развитие трёх языков боснийского государства основывается на отрицательной идентичности. Этот вывод подтверждает исследование, проведённое в рамках изучения трендов идентификации в молодёжной среде БиГ. Электронное анкетирование проживающих в Сараево, Восточном Сараево, Баня Луке и Рогатице молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, а также многочисленные персональные мини-интервью выявили два взаимосвязанных тренда, свидетельствующих об идентификационном диссонансе сознания респондентов. С одной стороны, существует образовательно-профессиональная тенденция укрепления идентичности. С другой – доминирование негативного тренда групповой идентификации молодёжи: противопоставление своей этнической группы внутренним «другим» (этнополитический конфликт внутри страны), а также самоопределение через отрицание внешних «других» (Пономарёва, Попадьева 2019: 114).

В результате система отрицательной обратной связи работает в ситуации, когда носители трёх вариантов, по сути, одного языка вынуждены фокусироваться на лингвистических различиях, чтобы подчеркнуть свою этническую идентичность внутри страны. Причём тенденции к смягчению и нивелированию данной ситуации не наблюдается. Более того, поправки к Уголовному кодексу БиГ, введённые Верховным представителем СБ ООН 27 июля 2021 г. об уголовном преследовании сроком от трёх месяцев до пяти лет лиц, отрицающих

«геноцид в Сребренице»⁴, стали фактором усиления деструктивных процессов. Буквально на следующий день чрезвычайная сессия Народной Скупщины эн-титета БиГ Республики Сербской (РС) одобрила поправки в свой УК, согласно которым тюремный срок будет теперь грозить за публичное оскорбление РС и её символики, а также за объявление сербов «геноцидным народом»⁵. Таким образом, политическая ситуация в БиГ не только остаётся крайне нестабильной, но и грозит перерасти в фазу окончательного размежевания по границам эн-титетов. Этот процесс видится неизбежным не только в силу геополитических причин, но и в виду враждебной боснийским «другим» сербской идентичности, одним из базовых факторов которой является язык.

Обсуждение результатов

Сегодня упорно пропагандируется миф об абсолютной ценности родного языка, однако в то же время лингвисты, юристы и политики говорят о том, что необходимо поддерживать и сохранять языки меньшинств как одну из основ культурного наследия разных народов, проживающих на территории одной страны. Случай Боснии и Герцеговины демонстрирует сложившееся противоречие теории и практики, когда одновременно родной язык и язык меньшинства различается лишь по идентификационному критерию (то есть этнониму). Искусственная кодификация языков Боснии и Герцеговины показала свою несостоятельность, поскольку, несмотря на образовательные стандарты в школах, носители за пределами учебных заведений называют язык БиГ «наш» (*naš*) или «местный» (*lokalni*) и не имеют трудностей в коммуникации. Попытки открытия образовательных центров по изучению языка меньшинств на территории другого энтитета также носят лишь политический характер и не имеют никакого практического выхода. Так, в Республике Сербской в 2014 г. был открыт Образовательный центр Нова Касаба, где «130 учеников ведут борьбу за боснийский язык»⁶. В то же время центров по изучению сербского языка в боснийско-хорватском энтитете нет. Единственное возможное решение, которое предлагали академики не так давно – унификация языковых стандартов и уход от этноориентированного названия языков БиГ. Однако, как было показано выше, данный путь потребовал бы от жителей страны отказа от своей этнической идентичности в пользу построения наднациональной общности, что на данном этапе развития БиГ не только невозможно, но и губительно для существова-

⁴ Митић А. Валентин Инчко изменама закона забранио негирање геноцида у БиХ. *Радио Телевизија Србије*. 23 июля 2021. URL: <https://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/region/4454279/valentin-incko-krivicni-zakon-bih-.html> (accessed 18.08.2021).

⁵ Стоянович Т. Запад не сломиће боснијских сербов, и «геноцид в Сребренице» ему не поможе. *Regnum*. 2 августа 2021. URL: <https://regnum.ru/news/polit/3335140.html> (дата обращения: 18.08.2021).

⁶ *Edukativni centar Nova Kasaba*. 3.03.2021. URL: <https://www.osmalta.edu.ba/2021/03/03/1319/> (accessed 18.08.2021).

ния страны в целом. Так, упрощение фонетических и грамматических норм реформы В. Караджича «пиши, как говоришь», целью которой было объединение южных славян, спустя два столетия стало оружием политической борьбы по разобщению народов. Пока политики не перестанут делать ставку на языковые различия, жители БиГ не будут ощущать себя гражданами одной страны.

Об авторе:

Татьяна Игоревна Попадьева – младший научный сотрудник Института системно-стратегического анализа (ИСАНА).

Россия, 111398, Москва, ул. Кусковская, д. 16. E-mail: tatpopadyova@yandex.ru

Конфликт интересов:

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

UDC: 325.3
Received: June 25, 2021
Accepted: July 21, 2021

The Politics of Language in Constructing Civil Identity: Case of Bosnia and Herzegovina

T.I. Popadeva

[DOI 10.24833/2071-8160-2021-4-79-91-106](https://doi.org/10.24833/2071-8160-2021-4-79-91-106)

Institute of System-Strategic Analysis

Abstract: Civil identity is one of the most significant factors in modern political practice. Today's identity formation and development of large national groups is less based on a cultural and historical foundation and increasingly depends on political technologies. Among them, the construction of new languages plays an important role. The article studies the Bosnian language policy, which, contrary to forming a common civil identity, as a result of the politicization of linguistic norms becomes a factor in creating a "forge of hatred". Drawing on constructivist social theories, the author summarizes Bosnian linguistic practices and examines them through the prism of symbolic interactionism and negative feedback systems. Particular attention is paid to situations when the desire for effective communication motivates speakers to abandon ethnically colored linguistic markers and situations in which the language acts as a defense against the internal "other." Applying the criteria for distinguishing between language and dialects, the author concludes that the phonetic principle of the Serbo-Croatian language formation made it possible, after the destruction of Yugoslavia, to turn this linguistic continuum into an identification weapon to delimit the citizens of one

country. This experience helps analyze the politicization of literary interpretations and linguistic norms in other regions of the world, where there are also examples of the growth of xenophobia, nationalism, and intolerance resulting from a differentiating language policy.

Keywords: civic identity, language policy, image of the “other”, Serbo-Croatian language, Balkans, Bosnia and Herzegovina

About the author:

Tatiana I. Popadeva – Junior Researcher, Institute of System-Strategic Analysis (ISSA), 16 Kuskovskaya St., Moscow, Russian Federation, 111398. E-mail: tatpopadyova@yandex.ru

Conflict of interests:

The author declares the absence of conflict of interests.

References:

Alexander R. 2010. Cultural Identity in Southeastern Europe: Balancing the Global and the Local. *Europe-Evropa: Cross-cultural dialogues between the West, Russia, and southeastern Europe*. Kononen M. and Nuorluoto J. (eds). Uppsala: University of Uppsala. P. 15-33.

Blumer H. 1962. Society as Symbolic Interaction. *Human Behavior and Social Processes*. Rose A. M. (eds) Boston: Houghton Mifflin. P. 179–192.

Bugarski R. 2012. Language, Identity and Borders in the Former Serbo-Croatian Area. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*. 33(3). P. 219–235. DOI: 10.1080/01434632.2012.663376

Bugarski R. 2017. Ethnicity and Mother Tongue in Population Censuses: from Yugoslavia to Serbia and Montenegro. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*. 38(8). P. 742–752. DOI: 10.1080/01434632.2016.1252768

Burke P.J., Stets J.E. 2009. *Identity Theory*. Oxford: Oxford University Press. 272 p.

Buzási K. 2016. Languages and National Identity in Sub-Saharan Africa: A Multilevel Approach. In: M. Gazzola & B. Wickström (eds). *The Economics of Language Policy*. Cambridge, MA and London: MIT Press. P. 225–264. DOI: 10.7551/mitpress/9780262034708.003.0008

Carmichael C. 2000. A People Exists and that People Has its Language: Language and Nationalism in the Balkans. *Language and nationalism in Europe*. Barbour S., Carmichael C. (eds). Oxford: Oxford University Press. P. 221-239.

Edwards J. 2009. *Language and Identity: An Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511809842

Giles H., Bourhis R.Y., Taylor D.M. 1977. Towards a Theory of Language in Ethnic Group Relations. *Language, Ethnicity and Intergroup Relations*. H. Giles (Ed.). London: Acad. Press. P. 307–348.

Giles H., Johnson P. 1981. *The Role of Language in Ethnic Group Relations. Intergroup Behaviour*. Oxford: Basil Blackwell. P. 199–243.

Giles H., Johnson P. 1987. Ethnolinguistic Identity Theory: a Social Psychological Approach to Language Maintenance. *International Journal of the Sociology of Language*. №68. P. 69–100. DOI:10.1515/ijsl.1987.68.69

Greenberg R.D. 2009. Dialects, Migrations, and Ethnic Rivalries: The Case of Bosnia-Herzegovina. *Journal of Slavic Linguistics*. №1-2. P. 193–216.

Halilbašić S. 2018. Bosnia and Herzegovina's National Theatres in the Context of Language Politics During the War. *Theatre in the Context of the Yugoslav Wars. 1st ed.* Dolečki J., Halilbašić S., Hulfeld S. (eds) Palgrave Macmillan: Switzerland. P. 63-81. DOI: 10.1007/978-3-319-98893-1_4

Malabotta M.R. 2004. Semantics of War in Former Yugoslavia: A Response to the Papers and Debate. *Language Discourse and Borders in the Yugoslav Successor States*. Busch B., Kelly-Holmes H. (eds). Multilingual Matters: Toronto. P. 78-87. DOI: 10.21832/9781853597336-008

Mead G.H. 1934. Mind, Self, and Society. *Identity Theory*. Burke P.J., Stets J.E. 2009. Oxford: Oxford University Press. P. 33-47. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780195388275.001.0001

Mitrovic M. 2004. Language, Borders, Identity: A Response to Ranko Bugarski. In: Busch B., Kelly-Holmes H. (eds). *Language Discourse and Borders in the Yugoslav Successor States*. Multilingual Matters: Toronto. P. 75-77. DOI: 10.21832/9781853597336-007

Powers W.T. 1973. *Behavior: The Control of Perception*. Chicago: Aldine. 266 p.

Stets J.E., Biga C.F. 2003. Bringing Identity Theory into Environmental Sociology. *Sociological Theory*. №4. P. 398-423. DOI: 10.1046/j.1467-9558.2003.00196.x

Swadesh M. 1971. *The Origin and Diversification of Language*. Chicago: Aldine, 372 p.

Weiner N. 1948. *Cybernetics: Or the Control and Communication in the Animal and the Machine*. Cambridge: MIT Press. 244 p.

Wendt A. 1992. Anarchy is What States Make of it: The Social Construction of Power Politics. *International Organization*. 46(2). P. 391-425.

Kapović M. 2011. *Čiji je jezik?* Zagreb: Algoritam. 183 p. (In Serbian)

Matasović R. 2001. *Uvod u poredbenu lingvistiku*. Zagreb: Matica Hrvatska. 334 p. DOI: 10.4312/linguistica.42.1.195-198 (In Croatian)

Petrović D. 2006. Anatomija identiteta: teorijsko problematiziranje identiteta. *Etnološka istraživanja*. №11. S. 209-233. (In Serbian)

Sekulić I. 1966. *Anketa: Govor i jezik*. Beograd: Matica Srpska. P. 305-337. (In Serbian)

Selimović M. 1987. *Za i protiv Vuka*. Beograd: BIGZ. 136 p. (In Serbian)

Tošović B., Wonisch A. 2012. *Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkoga jezika*. Knjiga 1/3. Beograd: Beogradska knjiga. 638 p. (In Serbian)

Alekseeva T.A. 2019. Konstruktivizm v mezhdunarodno-politicheskikh issledovaniyah [The Constructivism in International Political Studies]. *Sovremennaja politicheskaja nauka: Metodologija*. Gaman-Golutvina O. V., Nikitin A.I. (eds). Moscow: Aspekt Press. P. 293-315. (In Russian)

Achkasov V.A. 2013. Politika identichnosti v sovremennom mire. [Identity Politics in the Modern World]. *Vestnik SPbGU*. 6(4). P. 71-77. (In Russian)

Gorshkov M.K., Tjurina I.O. 2018. Sintez jetnonacional'nogo i grazhdanskogo kak osnova rossijskoj identichnosti [Synthesis of Ethno-National and Civic as the Basis of Russian Identity]. *Vestnik RUDN: Sociologija*. 18(1). P. 44-57. DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-1-44-57 (In Russian)

Malinova O.J. 2015. Koncept «Drugogo» v issledovanijah identichnosti: analiz sovremennyh diskussij [The Concept of the "Other" in the Study of Identity: Analysis of Contemporary Discussions]. *Politicheskaja nauka*. №4. P. 154-169. (In Russian)

Nojmann I. 2004. *Ispol'zovanie «Drugogo»*. *Obrazy Vostoka v formirovanii evropejskikh identichnostej* [Using the "Other". Images of the East in the Formation of European Identities]. Moscow: Novoe izdatel'stvo. 336 p. (In Russian)

Ponomareva E.G. 2013. Balkany kak zona (dez)integracii [The Balkans as a Zone of (Dis) Integration]. *Razvitie i jekonomika*. №5. P. 82-95. (In Russian)

Ponomareva E.G., Popadeva T.I. 2018. Bosnija i Gercegovina: jetnopoliticheskij faktor problemnoj gosudarstvennosti [Bosnia and Herzegovina: Ethnopolitical Factor of Problematic Statehood]. *Obzrevatel'*. №11, P. 63-76. (In Russian)

Ponomareva E.G., Popadeva T.I. 2019. Trendy identifikacii v molodezhnoj srede Bosnii i Hercegoviny i Severnoj Makedonii [Identification Trends in the Youth Environment of Bosnia and Herzegovina and Northern Macedonia]. *Nauchnyj zhurnal «Diskurs-Pi»*. 3(36). P. 98–119. DOI: 10.24411/1817-9568-2019-10307 (In Russian)

Semenenko I.S., Fadeeva L.A. (eds). 2011. *Identichnost' kak predmet politicheskogo analiza* [Identity as a Subject of Political Analysis]. Moscow: IMJeMO RAN. 299 p. (in Russian)

Tošović B. 2012. Osobennosti bosnijskogo/boshnyackogo yazyka po otnosheniyu k serbskomu i horvatskomu [Features of the Bosnian/Bosniac Language in Relation to Serbian and Croatian]. *Slavia Islamica: Language, Religion and Identity*. Greenberg R. D., Nomachi M. (ed.). Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University. P. 9–64. (In Russian)

Tjapko G.G. 2006. Horvatskoe «trijazyč'e» v nachale XXI v. [Croatian "Trilingual" at the Beginning of the 21 Century]. *Globalizacija – jetnizacija: jetnokul'turnye i jetnojazykovye process*. Neshhimenko G.P. (ed.). Moscow: Nauka. P. 153–173. (In Russian)

Список литературы на русском языке:

Алексеева Т. А. 2019. Конструктивизм в международно-политических исследованиях. *Современная политическая наука: Методология*. Отв. ред. О.В. Гаман-Голутвина, А.И. Никитин. Москва: Аспект Пресс. С. 293–315.

Ачкасов В.А. 2013. Политика идентичности в современном мире. *Вестник СПбГУ*. 6(4). С. 71–77.

Горшков М. К., Тюрина И. О. 2018. Синтез этнонационального и гражданского как основа российской идентичности. *Вестник РУДН: Социология*. 18(1). С. 44–57. DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-1-44-57

Малинова О. Ю. 2015. Концепт «Другого» в исследованиях идентичности: анализ современных дискуссий. *Политическая наука*. № 4. С. 154–169.

Нойманн И. 2004. *Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей*. Москва: Новое издательство. 336 с.

Пономарёва Е. Г. 2013. Балканы как зона (дез)интеграции. *Развитие и экономика*. №5. С. 82–95.

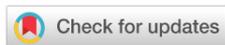
Пономарева Е. Г., Попадьева Т. И. 2018. Босния и Герцеговина: этнополитический фактор проблемной государственности. *Обозреватель-Observer*. №11. С. 63–76.

Пономарёва Е.Г., Попадьева Т.И. 2019. Тренды идентификации в молодежной среде Боснии и Герцеговины и Северной Македонии. *Научный журнал «Дискурс-Пи»*. 3(36). С. 98–119. DOI: 10.24411/1817-9568-2019-10307

Семененко И. С., Фадеева Л. А. (ред.). 2011. *Идентичность как предмет политического анализа*. Москва: ИМЭМО РАН. 299 с.

Тошович Б. 2012. Особенности боснийского/бошняцкого языка по отношению к сербскому и хорватскому. *Slavia Islamica: Language, Religion and Identity*. Greenberg R. D., Nomachi M. (ed.). Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University. P. 9–64.

Тяпко Г.Г. 2006. Хорватское «триязычье» в начале XXI в. *Глобализация – этнизация: этнокультурные и этноязыковые процессы: в 2 кн.* Отв. ред. Г.П. Нещименко. Москва: Наука. Кн. 2. С. 153–173.



Conceptual Perspectives on State Fragility

D.P. Elagin^{1,2}

¹ Moscow State Institute of International Relations (University)

² Peoples Friendship University of Russia

Abstract: The article explores scientific discourse on the phenomenon of state fragility and reviews contemporary research that aims to uncover what factors account for the emergence of states that are vulnerable to risks and crises and lack the capacity to deliver a response on their own. In order to achieve this goal, the author analyzes the evolution of the state fragility concept and reviews the literature on its causes. The article finds significant advancement in scientific thought about fragile states, acknowledging their continuous and multi-dimensional nature (the 'ALC' and 'OECD' approaches). However, these approaches tend to view fragile states as a deviation from the European nation-state model and focus more on the attributes of fragility (inability to perform core functions of the state or lacking the capacity to cope with risks and crises) while failing to produce a precise explanation for its causes. Hence, there is a need to analyze the process of fragile states formation and its consequences, i.e., to look at the macrohistorical dimension of state fragility. A better understanding of the historical context of state fragility and stricter identification criteria for the subgroup of severely and chronically fragile states allows identifying some structural explanatory factors such as rigidity of pre-independence colonial state borders, heterogeneity of population, and preferences that constraints collective action and small economic size. The literature review presented in the article finds that fragile states often have an insufficient tax base to guarantee the efficient provision of public goods. There are also agency factors that contribute to increased state fragility. This review also finds that imperfect political institutions may produce kleptocratic political regimes detached from the population's interests and irresponsive to them.

Consequently, they are likely to deny or limit access to public goods for some population groups. A combination of these factors is likely to create weak and fragile states, with the extent of fragility being context-specific. Recognizing the impact of the factors discussed in the article may help produce better policy responses to various development problems that plague fragile states.

Keywords: fragile states, state fragility, causes of state fragility, chronic fragility, the political economy of state fragility, failed states, state failure

UDC: 321.013

Received: August 05, 2020

Accepted: June 16, 2021

The issues of “stateness,” i.e., the state's ability to perform its core functions, has long been a subject of scientific debate (Ilyin 2011; Jackson 1990; Jackson, Rosberg 1982; Migdal 1988; Nettl 1968; Political Atlas of the Modern World... 2010; Rotberg 2002). There have always been states that performed poorly regardless of the standards for their assessment. States continue to decline into failure or fragility due to the effect of some recent events and crises, for instance, the Arab Spring (Buterbaugh et al., 2017).

The attempts to categorize such states commenced in the 1970s when the UN introduced the least developed countries (LDC) group¹. However, this categorization was based solely on socio-economic grounds and failed to capture a diversity of problems these mostly post-colonial and weak states faced. In the 1990s, they drew growing scientific attention and at first were referred to as “failed states” (Helman, Ratner 1993), amid recognition that such states can generate not only internal grievances and instability but also global security threats. Since then, several new concepts have emerged to comprehend better what drives them to become weak and how the global community can respond to their weakness. Currently, the most widely used concept is “*state fragility*”, that has become more popular among scholars and policymakers since the mid-2000s².

This concept turned out to be preferable as it is devoid of some of the shortcomings inherent in previous attempts to identify a group of countries facing severe development problems and lacking the capacity to solve them. Firstly, it was a departure from a categorical notion of *state failure* (which implies that a state can not change its fortunes) and acknowledged that *fragility* is a continuous phenomenon so that that different states may be fragile to a different extent. Secondly, *state fragility* soon incorporated a multi-dimensional approach to stateness, thus recognizing that state performance in one area may be independent of its performance in other areas.

State fragility has been a subject of extensive scientific research, which has covered the phenomenon itself and its definition (Baliamoune-Lutz, McGillivray 2011; Bartennev 2017; Bøås 2017; Grimm et al. 2014), attempts at the measurement of state fragility (Ferreira 2017; Mata, Ziaja 2009), its causes (Brinkerhoff 2011; Collier 2007, 2009; Lambach et al. 2015; Shevskiy 2017), costs and implications for development (Ault, Spicer 2019; Naudé et al. 2011), as well as the international response to fragile states' problems (Chauvet, Collier 2004; Di John 2010; Faust et al. 2015; Feeny, McGillivray 2009; Gisselquist 2014, 2015).

At the same time, the concept itself has been subject to criticism from both scholars and political leaders of the states, which have been labeled “fragile.” Some critics rendered the concept useless and harmful and called for its abandonment because it is too vague and obscures the diversity of problems these states face (Call 2011; Nay

¹ United Nations. 1971. General Assembly, 26th session: 2027th plenary meeting, Monday, 20 December 1971, New York. URL: <https://digitallibrary.un.org/record/736384> (accessed 10.08.2021).

² However, other terms remain in use and are often applied in a more or less synonymous way.

2014; Saeed 2020). The "State fragility" concept is also criticized as it has been used to justify international interventions based on the belief in the convergence of all nation-states (Hagman, Hoehne 2008). Meanwhile, political leaders of fragile states point at the danger of marginalization in the eyes of investors³ that may hamper their economic development.

Although the causes of fragility have received coverage in the literature, there is no definitive answer to why it happens. Given the multi-dimensional nature of the phenomenon, it is evident that different factors may cause a change of fortunes and a downslide "from agile to fragile." Hence, researchers analyzed the impact of conflict (Aliyev 2017; Taylor 2014), poverty (Collier 2009; Naudé et al. 2011), external shocks (economic, ecological, or foreign intervention (Burke et al. 2009; Ismail 2016; Miguel, Satyanath 2011)) and many other variables. However, the authors recognize a potential for reverse causality, with some of them being the consequences of fragility.

In this article, the author argues that there is a need for a more in-depth analysis of causes and the macrohistorical dimension of state fragility. The article reviews the evolution of the definitions of fragility and fragile states, the literature on the causes of state fragility, and the genesis of fragile states to identify better factors that might explain rigid and chronic state fragility, which may help provide a more solid basis for existing scientific assessments. Therefore, the article shifts focus to factors that make states likely to become severely or chronically fragile. This review finds that although the research on the causes of fragility notes potential multiple causality in explaining a downslide into the category of fragile states, there is still insufficient understanding of why states are likely to become fragile. The article highlights that fragile states' state-formation dynamics are different from those typical of resilient and stable ones, which is likely to produce structural and agency factors that increase their vulnerability and fragility. Understanding these historical differences can be crucial for the explanation of modern fragile states' shortcomings in achieving sustainable economic growth and social stability (Tilly 1999 explaining targeted development policies in place for fragile states).

As the nature of the phenomenon is complex (Baliamoune-Lutz, McGillivray 2011; Lambach et al. 2015), it is increasingly difficult to formulate a comprehensive list of fragile states. Besides, as fragile states are a rather diverse group, there is a need to understand better whether the concept retains its practical and analytical value or this diversity produces conceptual stretching (Collier, Mahon 1993). Therefore, the article focuses on states rendered fragile by such international institutions as the World Bank⁴ and the OECD⁵. The reasoning for that is the following. First, this group is formalized

³ UN. 2009. Address by Pierre Nkurunziza, President of Burundi, to the United Nations General Assembly, 18 March 2009. URL: <https://www.un.org/en/ga/president/63/pdf/calendar/20090318-education.pdf> (accessed 10.08.2021).

⁴ The World Bank denotes situations in states as fragile and conflict-affected. World Bank. 2021. FY21 List of Fragile and Conflict-affected Situations. URL: <http://pubdocs.worldbank.org/en/888211594267968803/FCList-FY21.pdf> (accessed 10.08.2021).

⁵ OECD. 2020. *States of Fragility 2020*. Paris: OECD Publishing. P. 24. DOI: 10.1787/ba7c22e7-en

by international institutions, and they are prioritized as the recipients of official development assistance. Second, they share more characteristics that justify the application of the concept.

The interest in this subgroup of states (the most unstable and fragile, and even chronically fragile⁶) follows from the fact that they may pose a threat to global stability and security, possibly generating regional conflicts through spillover effects (Iqbal, Starr 2008). These states lack political stability, cannot control their borders, and perform other core state functions, whereas aid and development discourses are not relevant for them without political reform. Consequently, the question arises of how they should be organized. Lack of structures that can hold a state together can be traced to historical factors and needs a more profound analysis – regimes and orders change, though informal institutions persist and prevent "development." Hence, there is a need for more effective strategies of external assistance, which should be based on better evaluation of national contexts⁷. Although donors prioritize, it is often absent, and no other instruments can be applied to improve development outcomes for fragile states.

The review finds two main approaches to disaggregating state fragility. In the article, they are referred to as functionalist or "ALC" (which stands for authority, legitimacy, and capacity), and the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) approaches.⁸ (Carment et al. 2010, 2015). The former pays specific attention to a state's ability to perform its core functions, such as maintaining control over its territory and monopoly over the use of force and violence, as well as core public goods provision. Meanwhile, the latter focuses on the sources of risks that may cause a failure to perform these core functions, distinguishing between economic, environmental, political, security, and societal ones, which also serve as dimensions of state fragility. At the same time, these approaches lack a coherent view on causes of state fragility defining fragility as adverse development outcomes resulting from deficiencies in formal and informal national institutions.

The review of the relevant literature identifies two groups of factors that constitute the macrohistorical dimension of state fragility. I denote the former group as structural factors. The rigidity of pre-independence colonial state borders and heterogeneity of the population and its preferences constrains collective action and prevents states from functioning with uniform efficiency within their borders. Besides, upon independence, these states faced minor external threats and did not actively participate in the

⁶ The group of severely fragile contexts defined by the OECD consists of the countries scoring the lowest based on six-level scale clustering and mixed-method analysis (OECD. 2018. *States of Fragility 2018*. Paris: OECD Publishing. P. 212. DOI: 10.1787/9789264302075-en). Chronically fragile contexts are those considered as fragile by the organization since the inception of its *States of Fragility* report in 2008 (OECD. 2018. *States of Fragility 2018*. Paris: OECD Publishing. P. 26. DOI: 10.1787/9789264302075-en).

⁷ See: OECD. 2007. Principles for Good International Engagement in Fragile States and Situations. URL: <https://www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/docs/38368714.pdf> (accessed 10.08.2021); OECD. 2008. Accra Agenda for Action. URL: <https://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdf> (accessed 10.08.2021).

⁸ OECD. 2016. *States of Fragility 2016: Understanding Violence*. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264267213-en

international military competition and, consequently, faced little pressure to develop effective military and tax systems. Moreover, their small economic size often means that they cannot achieve scale economies in the production of public goods and lack resources to invest in institutional capacity. The latter is comprised of agency factors. Inefficient political institutions may produce kleptocratic political regimes that do not attend to the population's interests and may even restrict access to public goods to some groups. All these factors are likely to produce gaps in performing core functions of the state and contribute to increased state fragility. I provide a more detailed explanation in the article, acknowledging that not all fragile states that this research focuses on share the highlighted characteristics.

The article is divided into three sections. Firstly, it reviews the evolution of the state fragility concept, focusing on definitions that capture in the best way the characteristics that these states exhibit and on standards of "resilience." Secondly, it reviews the literature on the causes of state fragility. Thirdly, it draws on the findings from the previous sections and related literature to provide some commentary on the processes of fragile states formation and the macrohistorical dimension of chronic and severe state fragility. In the discussion section, it critically reviews the findings and provide some remarks on the practical and analytical value of the concept itself.

Modern approaches to defining state fragility

There have been debates on stateness (what constitutes a capable and effective state, to be precise) since the breakdown of the colonial system when the number of states in the international system significantly and somewhat rapidly increased (Jackson, Rosberg 1982; Nettl 1968). In the early 1990s, it became evident that some post-colonial states showed no signs of becoming more effective, while others were in the process of disintegration. It was in these circumstances that researchers produced first attempts to categorize such states. G. Helman and S. Ratner (Helman, Ratner 1993) in their work introduced the concept of a *failed state or state failure*, but it remained rather broadly defined and understood as situations when "governmental institutions are overwhelmed by circumstances" (Helman, Ratner 1993: 5). Although their work helped attract scientific interest to the states they called *failed*, their approach was vague. They did not differentiate between degrees of state failure, neither did their analysis shed light on particular characteristics of such states (apart from them being in the process of disintegration and producing global threats).

The late 1990s saw growing attention to failed or fragile states that started to be recognized as sources of potential threats to the national security of Western states. The idea of fragility as a national security threat gained more traction after the 9/11 terrorist attacks. Western governments identified fragile and failed states as implicated in the production and circulation of global threats (Fearon, Laitin 2004). Currently, this idea has not changed much. Fragile states and the problems they are plagued by (poverty, instability, ungoverned spaces) are viewed as posing a substantial threat to

the international community (Patrick 2007)⁹. This understanding laid the foundation for the international military interventions in some of the states which were considered to be fragile or failed (Somalia, Afghanistan, or Iraq¹⁰).

The donor's interest in fragile states stemmed from a shift to aid selectivity when official development assistance (ODA) started to be primarily dedicated to countries with effective institutions and showed progress in implementing reforms proposed by the donor community and international institutions (Grimm et al. 2014). Soon it emerged that there were "bad performers" that failed to meet the standards of aid efficiency and risked being marginalized. The criticism of aid selectivity led the financial institutions to reconsider their policies and formulate specific approaches to countries they referred to as *low-income countries under stress, vulnerable states, or states in crisis* (Grimm et al. 2014). The "aid community" has gradually embraced *fragility* as a less derogative, categorical, and offensive term (Faust et al. 2015; Grävingholt et al. 2015). Since the mid-2000s, this term and its derivatives (like *states of fragility* or *fragile contexts*) have mostly replaced others in the development discourse (however, others like *failed* or *weak state* remains in use), and attempts were made at conceptualizing a definition for this group of countries.

I now proceed to review the evolution of the definitions of *fragile states*. Generally, they draw attention to the functions of the state either as a producer of public goods (Rotberg 2003, 2004; Zartman 1995) or as an entity that controls territory or holds a monopoly over violence (Jackson 1990; Krasner 2004). All these functions are derived from the perception of the ideal state, for instance, the Weberian state (Weber 1958). The definitions at first focused on the characteristics that fragile states lacked and tended to be descriptive. The second generation of definitions began to recognize fragility as a multi-dimensional and continuous phenomenon, focused on state institutions, and attempted to define them through authority, legitimacy, and capacity, which were understood as core functions of the state (Carment et al. 2010). Some modern definitions take a different approach and define state fragility as the inadequate coping capacity of the state to deal with and mitigate the risks they face¹¹, which can fail to perform core functions of the state. I limit myself to reviewing the evolution of definitions, acknowledging their ambiguity, refraining from arguing which one is better for practical or analytical purposes, and not entering the debate on defining state fragility.

At first, there was a tendency to define fragile states descriptively, focusing on the characteristics these states lacked. The core characteristics of fragile or failed states were denoted as a failure of institutions, functions, and processes of a country to accord with the strong image of a sovereign state (Migdal 2001), inability to suppress

⁹ Burns W.J., Flournoy M., Lindborg N. 2016. Fragile States and the Next President. *Foreign Affairs*, 11 September, 2016. URL: <https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2016-09-11/fragile-states-and-next-president> (accessed 10.08.2021).

¹⁰ Iraq was included in the group of fragile states after its categorization as rogue states, which, supposedly, are also implicated in the production of global threats (Call 2017). However, it can be observed that this has complicated defining fragile states as a group.

¹¹ OECD. 2016. *States of fragility 2016: Understanding violence*. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264267213-en

intrastate violence, control state territory, and economic inequality (Brooks 2005), being "a low-income country under stress."¹² "the loss of physical control of its territory or a monopoly on the legitimate use of force; the erosion of legitimate authority to make collective decisions; an inability to provide reasonable public services; the inability to interact with other states as a full member of the international community."¹³ However, the attempts to do so often fail to capture the complete picture as the states deemed fragile is a diverse group that at first sight may have little in common concerning internal conditions or external threats.

Since 2005 more comprehensive definitions emerged, mainly being the result of the work by donor institutions. US Agency for International Development (USAID) was among the first to propose a definition of a fragile state distinguished between states *vulnerable* to become fragile and *states in crisis*. While the former category comprised states "unable or unwilling to adequately assure the provision of security and basic services to significant portions of their populations and where the legitimacy of the government is in question" (USAID 2005: 1), states in crisis were defined as "those states where the central government does not exert effective control over its territory or is unable or unwilling to assure the provision of vital services to significant parts of its territory, where the legitimacy of the government is weak or nonexistent, and where violent conflict is a reality or a great risk" (USAID 2005: 1). The UK Department for International Development (DFID) defined fragile states as "those where the government cannot or will not deliver core functions to the majority of its people, including the poor"¹⁴. A similar definition was proposed by the OECD (2007)¹⁵. According to the OECD, states become fragile when "state structures lack the political will and/or capacity to provide the basic functions needed for poverty reduction, development and to safeguard the security and human rights of their populations."¹⁶ The contemporary research on state fragility produced similar definitions highlighting their difficulties with the provision of essential public goods (Stewart, Brown 2009) and "the degree to which [a state] has deficits in one or all of its dimensions" (Patrick 2011: 19).

All definitions proposed in the late 2000s tended to view states whose institutions were incapable or unwilling to perform their core functions as fragile. What are these core functions? There has been some debate on what constitutes them and which are more critical, although a usual list includes monopoly over violence, control over territory, tax provision, and the provision of welfare services¹⁷ (Engberg-Pedersen et al.

¹² World Bank. 2002. *World Bank Group Work in Low-income Countries under Stress*. A Task Force Report. Washington, DC: World Bank/Task Force on the Work of the World Bank Group in Low-income Countries Under Stress

¹³ Fund for Peace. What does state fragility mean? URL: <https://fragilestatesindex.org/frequently-asked-questions/what-does-state-fragility-mean/> (accessed 10.08.2021).

¹⁴ DFID. 2005. *Why We Need to Work More Effectively in Fragile States*. London: ukaid/Department for International Development. P. 7.

¹⁵ However, the organization later significantly refined it.

¹⁶ OECD. 2007. *Principles for Good International Engagement in Fragile States & Situations*. Paris: OECD Publishing. P. 2.
¹⁷ DFID. 2005. *Why We Need to Work More Effectively in Fragile States*. London: ukaid/Department for International Development.

2008; Political Atlas of the Modern World... 2010). A. Whaites (2008), for instance, provides a helpful distinction between "survival" and "expected" functions of the state. "Survival" functions denote the minimalistic conditions for the existence of a state which include the ability to maintain security, raise revenue, and govern through the rule of law. "Expected" functions reflect the social contract notion in the functions of the state and include the ability to meet citizens' expectations for service delivery and infrastructure development.

The OECD fragility framework typifies a departure from the public goods provision approach to defining state fragility¹⁸. The OECD defines fragility as "the combination of exposure to risk and insufficient coping capacity of the state, system and/or communities to manage, absorb or mitigate those risks. Fragility can lead to negative outcomes including violence, the breakdown of institutions, displacement, humanitarian crises or other emergencies."¹⁹. This definition presents an advantage because it emphasizes the lack of state and local informal institutions' capacity to deal with different risks that may arise. Besides, it acknowledges conflict and state collapse as potential consequences of fragility rather than its characteristics typified by the early attempts to define it.

Recent contributions to conceptualizing state fragility have recognized it as a multi-dimensional and continuous phenomenon, proposing to apply "whole of the government approach" to state fragility (Marshall, Cole 2017; Nay 2014) and recognizing that there is no clear distinction between states considered "fragile" and those deemed "not fragile" (Baliamoune-Lutz, McGillivray 2011; Lambach et al. 2015). As a departure from the concept of state failure, it is now recognized that different states are fragile to different extents (and that all states may be fragile to some extent) and that degree that matters. Thus, states are scattered over a fragility-resilience continuum, with countries being less stable and their governments performing worse being placed on the left furthestmost end of this axis. As a result, issues of measuring fragility arise, but they are not discussed in this article²⁰.

As for the multi-dimensional nature of state fragility, there are at least two approaches to its disaggregation. The first one is inspired by the Weberian definition of the state and views fragility as the extent to which actual practices and capacity of the state differ from its idealized image (Carment et al. 2008; Carment et al. 2010). This perspective can be denoted as functionalist or the ALC approach²¹ (Carment et al. 2015). Authority refers to the state's ability to enforce binding regulation, exercise coercive force on the territory it controls, provide core public goods, and create enabling environment for the population. Legitimacy captures the extent to which a govern-

¹⁸ OECD. 2016. *States of fragility 2016: Understanding violence*. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264267213-en

¹⁹ Ibid. P. 73.

²⁰ For a more detailed discussion of measurement issues, see (Faust et al. 2015; Ferreira 2017; Mata, Ziaja 2009; Milante, Woolcock 2017; Patrick 2011).

²¹ Which stands for authority (A), legitimacy (L), and capacity (C).

ment commands public support for its actions, whereas capacity refers to the ability of a state to mobilize and manage resources for productive ends and progressive service delivery²².

The second approach also refers to authority, legitimacy, and capacity discourse but focuses on the sources of risks and challenges fragile states face. The recent OECD publications exemplify this approach²³. Unlike the ALC approach, the OECD disaggregates fragility based on conceptual risk typology and identifies five dimensions: economic, environmental, political, security, and societal. Each dimension represents sources of potential risks. The OECD typology follows the earlier work by S.Rice and S.Patrick (Rice, Patrick 2008), who proposed economic, political, security, and social welfare functions to be viewed as the main pillars of statehood. However, the OECD approach is different as it focuses on the sources of risks that can cause a failure to perform core state functions, but not these functions *per se*.

A more detailed description of the approaches and their differences in defining and disaggregating state fragility is provided in Table 1.

Table 1. Comparison of ALC and OECD approaches to defining and disaggregating state fragility

Criterion	ALC approach	OECD approach
<i>Critical aspects of defining state fragility</i>	Based on Weberian definition of the state focuses on how effectively the state performs its core functions.	The conceptual risk typology; focuses on the state's vulnerability to risks and crises resulting from its institutional structure.
<i>Disaggregation criteria</i>	Core functions of the state under Weberian typology	Conceptual risk typology identifying sources of potential risks and crises
<i>Dimensions of state fragility</i>	Organized into three dimensions – authority, legitimacy, capacity – that correspond to core functions of the state under Weberian typology	Organized into five dimensions – economic, environmental, political, security, and societal – that reflect sources of potential risks that can cause a failure to perform core state functions
<i>Causes of state fragility</i>	Failure to perform essential state functions effectively creates structural gaps that leave a state vulnerable and unstable.	Lack of coping capacities to deliver a response to risks and crises that results from deficiencies in formal and informal national institutions
<i>Consequences of state fragility</i>	Failure to fulfill critical functions leads to increased fragility, a higher probability of conflict onset, and other emergencies.	Failure to respond to risks and crises effectively creates additional pressures and grievances, which lead to increased instability and emergencies, including violent conflict.

Sources: (Carment et al. 2008; Carment et al. 2010; Carment et al. 2015)²⁴.

The information presented in Table 1 shows that although the two approaches agree on the consequences of fragility and view some of the critical attributes of state fragility similarly, they differ in their definitions and the ways of phenomenon dis-

²² There were attempts to add a function of public finance management (Cliffe, Manning 2008) rather than include it in the state capacity dimension; however, it has not gained much popularity among academia and policymakers.

²³ OECD. 2020. *States of Fragility 2020*. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/ba7c22e7-en; OECD. 2016. *States of fragility 2016: Understanding violence*. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264267213-en

²⁴ OECD. 2016. *States of fragility 2016: Understanding violence*. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264267213-en

aggregation. These dissimilarities come from different conceptual underpinnings on which these approaches are based. Whereas the ALC approach focuses on state performance and disaggregates state fragility following the state's key functions, the OECD approach is based on conceptual risk typology and pays specific attention to the sources of potential risks. At the same time, both approaches have not developed a thorough explanation of the causes of fragility and view them as negative outcomes that result from bad governance.

To sum up, there is a consensus that state fragility has multi-dimensional and continuous nature, although the organization of these dimensions may differ (Gräv- ingholt et al. 2015). I argue that these approaches are complementary as risks or their combinations that fragile states face may be different and context-specific. Regardless of that, the inability to deliver an efficient response to risks and crises may stem from specific gaps inherent to fragile states.

Despite significant development in scientific thinking about state fragility, the current mainstream approach to state fragility is based on an idea of a norm and deviation from it (Bøås 2017; Patrick 2011) and, to some extent, on a "teleological belief in the convergence of all nation-states to the norm" (Hagman, Hoehne 2008: 42). Moreover, there is a tendency to define fragile states by what they are not or lack, i.e., state efficiency, whatever model is applied, be it Weberian, Tillyian, or "OECD-model" state (Eriksen 2011). However, whether these standards are universal remains debatable as different states have different informal social institutions and cultural orientations.

On the causes of state fragility

This section of the article reviews the research on the causes of state fragility (or state failure). The multi-dimensional nature of fragility suggests that there can be no single determinant of fragility as it is relatively rare that states are uniformly fragile across all dimensions (Carment et al. 2010). It is often several development problems that these states face which may not be linked directly. Hence, state fragility maybe even an issue of multiple causality. Most of the research on the causes of fragility has been quantitative and instrumental and aimed at establishing causal links between different variables (internal conflict, poverty, ethnic heterogeneity, etc.) and state fragility.

In contrast, the institutional approach has focused on national institutions and organizations that might make states vulnerable. As a result, we end up with various causes that may explain a downslide to fragility or a state of 'natural disorder.' However, most research rarely accounts for the possibility of reverse causality (probably, it is not conflicting that makes these states fragile, but fragility makes them more susceptible to violence). Consequently, the causes of such instability and vulnerability to risks remain open to debate.

I identify several streams of academic literature devoted to explaining state fragility.

The first one is comprised mainly of comparative econometric analysis aimed at establishing causal links between variables of interest and state fragility (or its extents). The variables usually include civil conflict or war, resource dependence, onsets of violence (Aliyev 2017; Collier, Hoeffler 2004; Ross 2004). The argument is that availability of resources makes rebellion feasible (Collier et al. 2009), and combined with other socio-economic factors (poverty and deprivation, social exclusion, ethnic heterogeneity or fractionalization, repression, etc.), it may give rise to civil unrest in an attempt to resolve grievances or to gain access to resources. However, prolonged conflict results in lower quality or even absent public goods provision, which means states become even poorer and more fragile.

The second stream of the literature (institutional approach) focuses on state-society interactions and the emergence of states as limited access orders (North et al. 2012). It argues that fragility can be viewed as a type of natural order that produces the most adverse development outcomes. D. Acemoglu and J. Robinson (Acemoglu, Robinson 2012) argue that such states are inherently fragile and that they sow the seeds of their destruction by relying on clientelism, rent-seeking, and corruption as a means of maintaining power and control while repressing their population. Consequently, these states have dysfunctional economic, political, and public administration systems that increasingly rely on resource exploitation and rent-seeking by the elite. Ultimately, it means that if internal or external shocks arise, these states will lack the capacity to mitigate them and will be likely to fail at providing public goods to the population and lose control over it.

The third stream of the literature adopts a functionalist approach to explaining state fragility by looking at core functions of the state (ALC approach has been discussed previously). Fragile states exhibit structural gaps that can be disentangled across three lines – authority, legitimacy, service or capacity (Brinkerhoff 2007, Stewart, Brown 2009). Authority gaps include failure to provide security for population and property, as well as inability to control state territory. Service or capacity gaps point to the failure to provide basic public goods and infrastructure and the inability to create an enabling environment for the population's well-being. Legitimacy gaps indicate inability to form a responsive and accountable government that is capable of managing public support. According to the World Bank²⁵, the states that fail to perform these functions risk entering a vicious cycle that makes them increasingly fragile over time. However, researchers failed to distinguish which of the government's functions was more important in explaining fragility (Takeuchi et al. 2011). Anyway, failure to fulfill these functions may lead to increased fragility, higher probability of conflict onset with a possibility of a country entering a fragility trap, when it gradually becomes increasingly fragile and moves towards disintegration (Goldstone 2008).

²⁵ World Bank. 2011. *World Development Report 2011: Conflict, Security, and Development*. Washington DC: World Bank.

Finally, the fourth stream of the literature focuses on exogenous factors of state fragility. Among them, the authors note the spread of terrorist groups (Patrick 2007; Sandler 2015) and transnational criminal networks (Berdal, Serrano 2002; Duffield 2001) which are implicated in illicit activities and which find safe haven within the territory of the fragile states. According to the World Bank²⁶, their activities are likely to weaken governmental institutions, foster corruption and undermine popular trust in the state institutions. Fragile states are often locked in a “bad neighborhood” problem as they have borders with other fragile states (Collier 2007). Negative outcomes in one state, consequently, may produce negative dynamics in its neighbors through spillover effects (due to forced migration, extension of conflict zone, trade shocks, etc.) (Iqbal, Starr 2008). There are also causes related to terms of trade and ecological shocks. Since fragile states have dysfunctional economic systems, they are often dependent on food imports, thus any price shock substantially increases their vulnerability. R. Burke et al. (Burke et al. 2009) and E. Miguel and S. Satyanath (Miguel, Satyanath 2011) also document that diminishing rainfalls and temperature rise create additional pressures for African states and make them subject to more risks.

There are also critical approaches which I denote here as a separate literature stream acknowledging though that they have some theoretical and methodological differences. However, they can be considered as a single one for the purposes of this article since they are critical of the concept itself and do not apply it in their analysis of the "Global South" development problems, while they also help escape some of the shortcomings of the mainstream approaches, for example, their normative nature and lack of attention to informal institutions, contextual factors and historical dynamics. There are two major streams of critique: 1) dependency and world-systems theory, 2) postdevelopment theory.

Dependency and world-systems theory posits that global inequalities produced by the colonial legacy and preserved in the post-colonial world order are major prerequisites of the development problems faced by post-colonial nations. Their dependent position in global economic and political relations that stems from unfair trade practices and lack of economic diversification deprives them of an opportunity to change their fortunes and makes them susceptible to state fragility or even failure (O’Kane 1993; Tusalem 2016; Wallerstein 2011).

Post-development theory also emphasizes the role of colonial legacies in adverse development outcomes for post-colonial nations but offers a different explanation. They are interpreted as the result of the Western formal political and economic institutions imposition on the "Global South" without due attention to contextual differences and informal institutional structures. As a consequence, these countries produce only a flawed imitation of Western institutional structures which do not correspond to local informal practices. Post-development theory is also more critical of the concept itself.

²⁶ Ibid.

It is viewed as a reflection of Western perceptions of state efficiency, which may be viewed as universalist and derogative and which serves as a pretext for interventions and development efforts that can be counterproductive with a possibility of creating even more development problems (Call 2008; Escobar 2011; Nay 2013, 2014; Saeed 2020).

There are several problems common to all of the critical approaches. Firstly, they exhibit bias and base their positions on Marxist (or Neo-Marxist) or anti-Western political traditions²⁷. Secondly, they see colonial legacies (though they offer different interpretations of how they affected post-colonial nations) as the major factor behind the development problems of the states referred to as fragile in this article. These approaches also blame the West for imposing institutions and model of thinking which upholds its dominance and supremacy in international relations without due attention to internal and structural factors that affect the stability of fragile states.

To sum up, there is a consensus among scholars that a single root cause of fragility does not and cannot exist, as the countries in question suffer from different problems and to different extents. Fragility, thus, cannot be attributed to an isolated influence of such factors as civil war, poverty, having weak institutions, or external shocks (Brinkerhoff 2019). There is usually a combination of variables that drives states on a trajectory towards increased vulnerability and instability. A contrasting view is offered by critical theories (dependency/world-systems theory and post-development theory) that see colonial legacies as a significant prerequisite for the emergence of weak states. However, it remains unclear why fragile states lack coping capacities.

Macrohistorical context of state fragility

This section covers the macrohistorical dimension of state fragility. Having identified that fragile states are incapable of coping with risks and shocks, I review existing literature and provide commentary on predicting severe or chronic fragility risks. It allows uncovering how the interaction between historical dynamics and the processes of their genesis accounted for the poor performance of this subgroup of states.

There is a tradition of thinking about fragile states as the antipode of effective and capable states within two competing perspectives. The first one views the state as service providers (output-oriented approach), with public goods as their primary purpose, whereas the second one is inspired by the Weberian definition of the state (Eriksen 2011). S. Eriksen (Eriksen 2011) suggests that the output-oriented approach to state performance is hardly suitable as an analytical concept when dealing with fragile states as it is closely tied to what he calls the "OECD model" and exhibits democracy bias when measuring the legitimacy of the state.

²⁷ The mainstream approaches covered in this article may not be free from similar shortcomings.

Weberian tradition (Weber 1958) focuses on the state's institutional capacity, i.e., its ability to uphold the claim to the legitimate use of force to enforce its order. This tradition tends to disaggregate core state functions in three dimensions – authority, legitimacy, and capacity²⁸, which loosely correspond to a "trinity" of legitimized monopolies – monopoly of rule-making, monopoly of violence, and monopoly of tax collection. Any private participation in performing core functions of the state should be authorized by it.

To shed light on the emergence of fragile states, I proceed with the analysis of their genesis. Chronically or severely fragile states often fail, at least partly, to comply with these ideal perceptions, be it "OECD-model" state or a Weberian state. As shown in the first section of the article, they are often characterized by the lack of control and capacity to enforce rules over their territory so that their institutions are likely to produce gaps across all dimensions.

Meanwhile, historical-institutionalist perspective views 'disorder' as a natural order and posits that it is the emergence of effective states that needs explanation (North et al. 2012). Nevertheless, as a Western model of statehood is recognized as a norm for national political organization, it is important to understand what historical peculiarities prevent states defined as fragile by the World Bank and the OECD from developing more effective institutional structures and producing better development outcomes. Moreover, official documents presuppose political component to development which calls for better evaluation of contextual characteristics. To produce better development outcomes for fragile states, it is important not to overlook the macrohistorical factors that make them inherently fragile.

Ch. Tilly (Tilly 1990) explains the emergence of affective states as the result of international military rivalry, which changed states from "stationary bandits" (in terms of M. Olson (Olson 1993)) to modern public goods providers²⁹. He shows that a need to finance military activities and increasing military spending forced states to develop taxation to have secure domestic revenue sources, which allowed them to manage the debt burden. Maintaining efficient taxation systems required supporting institutions and at least maintaining security on the territories the state-controlled. Over time such states developed an interest in creating a more enabling environment for private economic activity as it helped increase their tax revenue. Therefore, they expanded the provision of public goods, accepted accountability, and developed the institutions of representation to promote wealth generation and accommodate citizens' interests. Finally, in this quest for state efficiency (which P. Collier (Collier 2009) compares to Darwinian natural selection), borders changed, and only effective states survived.

²⁸ Some authors (Lambach et al. 2017) proposed excluding legitimacy from the list for it setting too high a standard for most modern states and challenging to operationalize quantitatively.

²⁹ A similar account is presented by S. Bartolini (Bartolini 2005).

As Ch. Tilly (Tilly 1990) depicts the macrohistorical dynamics of resilient states, these processes were different for the fragile states as defined by the World Bank and the OECD. P. Collier (Collier 2009) posits that their genesis was qualitatively different and, as a result, they ended up with different political economies. Firstly, this "Darwinian process" was largely absent, and fragile states mainly emerged after the break-up of empires or decolonization and often inherited the borders of former colonial entities. Secondly, unlike the "Tillyian state," they faced few external threats and did not actively participate in international conflicts. That is why they faced little pressure to develop effective and expensive military and, consequently, effective tax systems³⁰. Thirdly, these new states tended to be divided along ethnic and sectarian lines, which made collective action and bargaining processes more difficult (Metamorfozy razdelennykh obshchestv 2020)³¹. In addition, some of these states were endowed with natural resources, which made efficient taxation systems not necessary. Finally, although they did not face a significant risk of international conflict, these states were far from secure and plagued by intrastate conflicts. As they did not have incentives to improve the efficiency of their institutions, they remained poor, which possibly made rebellions more viable³². However, there is a possibility of reverse causality, with conflict being the result of state fragility.

Another perspective is presented by A. Alesina and E. Spolaore (Alesina, Spolaore 1997; Alesina, Spolaore 2003), who proposed a model that addresses the number and size of nations in the international system. The size of the states and, consequently, their number is determined by the trade-off between costs and benefits of size and the costs of heterogeneity of preferences over the provision of public goods and governmental policies it entails. The efficiency of government diminishes linearly the further the point is from the center of the state. The equilibrium is achieved either by public choice, when a region decides a part to what state it becomes, or is exogenously configured by "dictatorial Leviathans". The equilibrium in the world therefore consists of an N number of equal-sized states with maximized average utility. The equilibrium, however, can be affected by global security threats and economic liberalization that shift it to a lower or higher number of states.

Consistent with the model's predictions (Alesina, Spolaore 1997), the number of states in a post-1945 world system substantially increased. At the same time, the authors (Alesina, Spolaore 2003) note that borders in Africa do not reflect ethnic, reli-

³⁰ Since 1945 not only have international conflicts become much rarer but also no state ended up incorporated into the other as a result of military conflict (Tir et al. 1998; Zacher 2001).

³¹ Recent research (Arbatli et al. 2020) suggests that it may be even intra-group heterogeneity that contributes to the emergence of unstable political economies which are likely to experience conflict and state fragility. Unsurprisingly, it is the post-colonial (and mostly African) states that exhibit the highest degree of intra-group heterogeneity. In terms of the Alesina-Spolaore model (Alesina, Spolaore 1997) discussed later in the article, it means that the state's capacity to perform its core functions may be even more unevenly distributed than predicted by the model.

³² T. Beesley and T. Persson (Beesley, Persson 2008a) confirm that at low levels of income, rebellions are both "cheap" and common.

gious or cultural divisions³³. Therefore, the model predicts the chaotic nature of borders in Africa and some other post-colonial regions. Consequently, the heterogeneous population of these new countries means that heterogeneity of preferences is non-linear and that the function of state effectiveness would also follow that pattern. This can explain why these new post-colonial states are inefficient in providing public goods to the population or producing better development outcomes and "economic success" as they cannot function with uniform efficiency within their state borders (Alesina et al., 2011). Consequently, they are more likely to experience chronic or severe fragility.

It can also be observed that secession or territorial change was quite rare. A. Alesina and E. Spolaore (Alesina, Spolaore 2003) attribute it to a conscious decision of African leaders. However, the UN-backed consensus on the respect for territorial integrity and the Organization of African Unity (now African Union) resolution supporting respect for inherited borders also came into being (Zacher 2001). Thus, the evolutionary process of territorial change that could create more unified and efficient states was prevented³⁴.

By making these historical comparisons, I do not mean to say that fragile states should necessarily follow the path of state formation experienced by the "resilient" states – higher institutional effectiveness may be achieved through different means in the modern world. Instead, they are drawn from the related literature to show that the paths of state formation could create conditions that may exclude any prospect for sustainable socio-economic development. I provide explanation further in this section. Moreover, even though these dynamics may match more or less every post-1945 former colonial state, not all of them are categorized as fragile by the OECD and the World Bank. High probability of falling into fragility does not exclusively depend on the path of state formation. Consequently, there may be some specific characteristics that account for insufficient coping capacities of certain states.

Authors (Beesley, Persson 2008b; Collier 2009) also attribute fragility to small economic size of these new nations. Upon their independence, many states were extremely poor and their poverty was combined with low population size³⁵. It prevented them from exercising scale economies in the provision of public goods, particularly security, as that in a big state, maintaining security is less costly on a per capita scale. As a result of that, relatively high military and security expenses of these states prevent them from investing in the institutional capacity. Therefore, these often small and impoverished states with chaotic borders and heterogeneous population do not command enough resources to be resilient in the face of different threats that arise and are likely to fall into the category of fragile states.

³³ This is also substantiated by other researchers (Herbst 2000; Michalopoulos, Papaioannou 2020). A. Alesina et al. (Alesina et al. 2011) even call states with such a configuration of their borders "artificial."

³⁴ That could serve as an explanation for why some post-colonial states are caught in the inefficient public goods provision trap.

³⁵ For GDP per capita and population data, see: World Bank. World Bank Open Data. URL: <https://data.worldbank.org/> (accessed 10.08.2021).

The processes of state-formation discussed above may produce authority, legitimacy and capacity gaps. That is why the core functions of the state can not be performed in due form.

Authority gaps manifest themselves in an inability to maintain a monopoly of violence or tax collection due to the costly nature of providing security as a public good. Without that, tax collection is also likely to be limited and restricted to tariff collection. Governments, consequently, would be forced to primarily rely on external sources of revenue.

Legitimacy gaps result from heterogeneity of preferences of population, which are likely to change nonlinearly due to the somewhat chaotic nature of national borders. Thus, a state would have a hard time commanding the support of the population. T. Beesley and T. Persson (Beesley, Persson 2008b) suggest that another issue concerning legitimacy may arise. Governments may get detached from the interests of the population and become irresponsive if they rely on tariffs as a source of revenue³⁶.

Capacity gaps may occur due to a lack of incentives to strengthen national institutions as states of small economic size are more likely to fall prey to rebellions and civil wars. As a result, maintaining military expenditure ends up crowding out non-military expenses, while heterogeneity of the population and its preferences means that a state can not be uniformly effective in different parts of its territory. A combination of these problems may create a state we would call fragile or even extremely fragile depending on the extent of the problems it encounters.

S. Michalopoulos and E. Papaioannou (Michalopoulos, Papaioannou 2020) show how historical legacies and structural factors that were described in this section create increasingly unstable and fragile states in Africa. Their review notes that colonialism, though short, established borders that did not reflect the ethnic composition of the territories and institutional structures that were primarily aimed at exploiting the continent's riches (Michalopoulos, Papaioannou 2014). The provision of public goods in these countries was limited to capitals and significant urban hubs (Michalopoulos, Papaioannou 2014). Upon independence, the population of African states was poor and heterogeneous, while the institutions in place were unable to enact policies that would allow infrastructure or human capital development needed for economic growth. The relative poverty of these new states and the extractive nature of institutions meant that governments lacked interest in developing more effective tax systems since they depended on foreign trade as their primary source of income. This prevented the effective functioning of the institutions of representation and investment in infrastructure. In contrast, heterogeneity of population meant that it was difficult for the governments to rely on the support of the whole population, which created the potential for violent conflict that further destabilized some states.

³⁶ J. Weigel (Weigel 2020) suggests that lack of incentive and capacity to develop direct tax collection in fragile settings may also explain low levels of political participation, which could improve the quality of institutions, and to some extent, may be attributed to a conscious decision by the political elites of such states.

The author provides some commentary on the inconsistencies in the generalizations taken from the literature. This review focuses on factors that may help explain state fragility, and by that, the author does not mean that all states categorized as fragile by the international institutions share all of the characteristics highlighted in the previous paragraphs. There are some counterexamples – DRC is not of small economic size though its population is impoverished, and it matches most of the other characteristics this review finds (Weigel 2020). It is better to think of the characteristics highlighted in the article as potential variables that may be expected to be positively correlated with the degree of observed state fragility. The more these characteristics a state exhibits, the higher degree of state fragility would hypothetically be observed.

As the article has covered some structural gaps that may explain macrohistorical dynamics of the emergence of fragile states, there is also a group of factors referred to as agency problems. Firstly, as fragile states tend to have weak political institutions and the population may have little say or control over decision-making, the political leaders of such states may pursue their benefit, which may lead to the formation of kleptocratic and corrupt political regimes (Acemoglu, Robinson 2012; De Waal 2014; Herbst 2000). Consequently, such regimes are unlikely to produce economic gains for the population and are likely to generate additional grievances that contribute to increased fragility. Secondly, such weak institutional structures may substitute the provision of public goods with the provision of club goods, deliberately denying access to them for some groups of the population³⁷ (Alesina et al. 2011).

A. De Waal (De Waal 2014) shows how the factors described in the previous paragraph can lead to state collapse. He observes that South Sudanese governance has long been neo-patrimonial and kleptocratic and has retained these features upon independence. Moreover, the population of the country is heterogeneous, and leading political groups claim to represent the interests of different groups of the population. Organized violence is often used as a means of bargaining, which leads to internal instability and violence ending in the redistribution of resources, but not in better governance. As a result, access to public goods relied on unstable client-patron relations that were subject to renegotiation, use of force was widespread and cyclical, while military expenses reached as high as 10% GDP. As the quality of institutions remained poor, South Sudan entered what may be called a "fragility trap."

The macrohistorical dimension of state fragility analysis indicates that although risks and threats are context-specific, fragile states as defined by the World Bank and OECD share some patterns of state-formation processes that may make them vulnerable and more likely to fall into the category of fragile. Firstly, they are primarily post-colonial states that inherited colonial borders. Second, with their population being heterogeneous and often divided along sectarian, ethnic, and cultural lines, they face collective action problems because of high transaction costs, which may prevent them

³⁷ OECD. 2009. Service Delivery in Fragile Situations: Key Concepts, Findings, and Lessons. *OECD Journal of Development*. 9(3). P. 7-60. DOI: 10.1787/journal_dev-v9-art26-en.

from bargaining and establishing better institutions. Thirdly, a common characteristic of fragile states is the small economic size (low population size coupled with low per capita income) which means that they cannot reap economies of scale in the provision of security and other public goods. As a result, they also lack resources to invest in state capacity due to negligible tax bases.

Along with these structural gaps, there are also agency problems that may explain state fragility. Imperfect political institutions may produce kleptocratic political regimes detached from the population's interests and irresponsible to them. At the same time, there is also a possibility for some groups to be denied access to the public good or to be subject to limited access. These factors may further undermine state capacity and produce increasingly fragile states. Of course, there are exceptions to these generalizations, but most of the fragile states as defined by the OECD or the World Bank, i.e., extremely or chronically fragile, may be expected to fit the pattern of state-formation described in the article.

Results

The literature review finds significant advancement in defining a group of states that are vulnerable to risks and crises and cannot produce an efficient response to them despite some inconsistencies and ambiguity in the application of state fragility concept. Since the mid-2000s, these states have been mostly referred to as *fragile states*; however, its derivatives and other terms (like *weak states*, *failed states*) remain in use and are often applied in a synonymous way. Despite fragility being a multi-dimensional and continuous phenomenon, which means that fragile states may suffer from different problems and to different extent, the defining characteristic of a fragile state is its vulnerability to risks and crises and inability to cope with them.

The article also finds there is a consensus among scholars that a single root cause of fragility does not and cannot exist. Therefore, state fragility cannot be attributed to an isolated influence of such variables as civil war, poverty, weak institutions, or external shocks, with a combination of factors that drive state fragility. However, the literature review presented in the second section of the article explains the change in the degree of fragility rather than its emergence.

Besides, the diversity of potential causes of state fragility and structural gaps that it manifests itself in makes the concept ambiguous and points to the need to search for a more solid ground to identify fragile states. This article argues that this can be effected by analyzing the macrohistorical dimension of state fragility – the processes and dynamics of state formation and development. This review indicates that chronically or extremely fragile states share some patterns of state-formation processes that may make them vulnerable and likely to fall into the category and distinguishes them from more solid and resilient states.

The literature review presented in the article discovers several macrohistorical factors that may explain why states are likely to be weak and fragile and categorizes them

into two groups – structural gaps and agency problems. Firstly, fragile states are mostly post-colonial states that inherited colonial borders. Secondly, with their population being heterogeneous and often divided along sectarian, ethnic, and cultural lines, they face collective action problems that may prevent better institutions. Thirdly, a common characteristic of fragile states is their small economic size which means that they lack resources to provide public goods to their population. As a result, they also lack resources to invest in state capacity due to negligible tax bases.

Along with these structural gaps, there are also agency problems that may explain state fragility. Imperfect political institutions may produce kleptocratic political regimes that are detached from the population's interests and irresponsible to them, while there is also a possibility for some groups to be denied or be subject to limited access to public goods. A combination of these factors is likely to produce states that are weak and fragile across multiple dimensions.

Discussion

As the concept of state fragility is subject to criticism from scholars (the same holds for the concepts of failed or weak states), there is a critical issue to be raised here. As shown in the article, these states' state formation processes and their limited capacity in terms of public goods provision are often seen as a "deviation from the norm" (Bilgin, Morton 2004; Eriksen 2011), with the norm being a resilient Western state. However, the state fragility concept may be seen as progress in scientific thinking about states that do not produce positive outcomes for the population. It remains a matter of debate whether it is helpful to apply this general framework of statehood to non-Western states that fail to emulate it for the reasons described in the previous sections of the article.

The criticism thus focuses on several aspects of the concept. Firstly, it implies that if institutions of these states are inherently different, they can produce only a flawed imitation of the model (Hansen, Stepputat 2001). Secondly, it argues that the concept is of limited analytical utility because it is applied in wildly divergent and problematic ways (Call 2012; Nay 2014). Thirdly, it serves as a ground for sometimes counterproductive international interventions.

This article argues that a concept of state fragility holds its analytical and practical value. Firstly, formal institutions of all (or at least most) states are still based on the European model of statehood, and leaders of post-colonial states raise no objections to that (Alesina, Spolaore 2003). Second, this modern state model is globally recognized as a political unit (Eriksen 2011). Therefore, states that fail to perform their functions and react to risks and crises can be viewed as fragile. It may be argued that given the diversity of fragile contexts and their development problems, this concept may obscure reality rather than help better understand it. However, this research finds that some macrohistorical factors provide a more solid ground for identifying state fragility – at least if a subgroup of severely and chronically fragile states is considered.

The analytical and practical value of the concept is also demonstrated that fragile states are at the highest risk of failing to achieve Sustainable Development Goals (SDG). Economic development and social progress remain uneven, and there are prospects of them producing regional or global threats through spillover effects (because of conflict, human flight, transnational crime, etc.)³⁸ (Iqbal, Starr 2008). As these countries do not command enough resources or institutional capacity to cope on their own, international institutions and donor agencies correctly pay special attention to them. Whereas better economic outcomes for the less developed countries and increased political stability remain at least a desirable result of global development efforts, identifying states affected by severe and chronic fragility, along with a better understanding of what makes them fragile, may be helpful in decision making and priorities selection for the official development assistance³⁹. Improved and more acknowledged development policies are critical amidst the COVID-19 pandemic as fragile states suffer from not only internal problems (insufficient infrastructure and funds to cope with the spread of the disease) but are also subject to potential external shocks such as food security and price shocks, restrictions on the movement of people, the decline in international aid due to internal pressures donors face⁴⁰.

Though the findings of this review remain speculative, they open avenues for further research. The results could be substantiated by quantitative analysis linking the expected state fragility based on the peculiarities of the state-formation process this article uncovered with the observed data.

* * *

States may be vulnerable or at risk of failure even before they are acknowledged as failing or fragile. Pathways to fragility are relatively easy to establish, and there is no lack of empirical research linking fragility to conflict, poverty, deteriorating ecological or economic conditions. However, this view on fragility lacks a macrohistorical perspective: what makes a state likely to become chronically fragile?

The author answered this question by looking at macrohistorical dynamics of the states that fall into the category as defined by the World Bank and the OECD. The review of the literature presented in the article finds that they are qualitatively different. Unlike the models of statehood reflected in Weberian or Tillyian tradition, most fragile states are post-colonial and have a heterogeneous population, which may increase the heterogeneity of population preferences for public goods and governmental policies. In combination with their small economic size, it means that they are likely to be inefficient in both providing public goods and responding to crises. Therefore, they

³⁸ OECD. 2018. *States of Fragility 2018*. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264302075-en

³⁹ Ibid.

⁴⁰ OECD. 2020. Covid-19, Crises and Fragility. URL: <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crises-and-fragility-2f17a262/> (accessed 10.08.2021).

are likely to experience higher degrees of state fragility and suffer from a multitude of development problems.

The article also provides justification for the application of the concept. According to its findings, fragile states do have common characteristics with regard to the dynamics of their formation and development. Therefore, identification of the group of countries which are the most vulnerable to risks and crises may help build a more stable and equal global environment through targeted development strategies based on a more solid scientific ground.

About the author:

Denis P. Elagin – lecturer, Moscow State Institute of International Relations (University) of the Russian Ministry of Foreign Affairs, 76 Vernadskogo avenue, Moscow, Russia, 119454; assistant, Peoples Friendship University of Russia, 6 Miklukho-Maklaya street, Moscow, Russia, 117198.

E-mail: d.elagin@my.mgimo.ru, elagin-dp@rudn.ru

Conflict of interests:

The author declares the absence of conflict of interests.

Acknowledgements:

The research was funded by RFBR, project no. 20-011-00922.

УДК: 321.013

Поступила в редакцию: 05.08.2020 г.

Принята в печать: 16.06.2021 г.

Концептуальные подходы к анализу «неустойчивости государств»

Д.П. Елагин

[DOI 10.24833/2071-8160-2021-4-79-107-135](https://doi.org/10.24833/2071-8160-2021-4-79-107-135)

Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России,
Российский университет дружбы народов (РУДН)

Представленный в статье анализ научного дискурса по проблематике «государственной неустойчивости» направлен на критическое переосмысление значимости факторов, с которыми обычно связывают уязвимость некоторых государств к рискам и кризисам и их неспособность найти ресурсы для самостоятельного противостояния им. В поисках ответа автор рассматривает концепт «неустойчивых государств» и предлагает обзор литературы, посвящённой различным аспектам «государственной не-

устойчивости». Проведённое исследование позволяет говорить о том, что учёные и эксперты добились значительных успехов в концептуализации этого феномена и осветили его многомерный характер. В частности, в результате детализации концепта возникли такие новые подходы к причинам «государственной неустойчивости», как функционалистский или ALC и подход ОЭСР. Однако эти подходы (и основанные на них практики помощи развитию) исходят из оценки функционирования «неустойчивых государств» как отклонения от нормативной модели национального государства европейского происхождения. Таким образом, в современных условиях необходимо учитывать и траектории формирования государств этой группы, т.е. анализировать макроисторическое измерение «государственной неустойчивости». Представленный в статье обзор исследовательской литературы позволяет обратить внимание на такие структурные факторы «неустойчивости», как сохранение границ колониального периода и гетерогенность населения и его предпочтений (что ограничивает способность индивидов к коллективному действию), а также малый размер экономики, в результате чего «неустойчивые государства» часто не обладают достаточной налоговой базой для эффективного предоставления общественных благ. Не менее важными являются и агентивные факторы: слабость политических институтов способствует формированию клептократий, которые отстраняются от интересов населения и могут ограничивать доступ к общественным благам для определенных групп. По мнению автора, учёт выраженности влияния рассмотренных в статье факторов позволит лучше учитывать качество и степень «государственной неустойчивости», которая демонстрирует высокую зависимость от контекстуальных характеристик, и разрабатывать более эффективные меры в сфере развития.

Ключевые слова: «неустойчивые государства», неустойчивые государственные состояния, причины «государственной неустойчивости», политическая экономия «государственной неустойчивости», «несостоявшиеся государства», государственная несостоятельность.

Об авторе:

Елагин Денис Павлович – преподаватель, Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, 119454, Россия, г. Москва, пр. Вернадского, д. 76; ассистент, Российский университет дружбы народов (РУДН), 117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6. E-mail: d.elagin@my.mgimo.ru, elagin-dp@rudn.ru

Конфликт интересов:

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Благодарности:

Исследование было подготовлено в рамках поддержанного РФФИ проекта № 20-011-00922.

References:

Acemoglu D., Robinson J.A. 2012. *Why Nations Fail: The origins of Power, Prosperity and Poverty*. New York: Crown Books.

Alesina A., Spolaore E. 1997. On the Number and Size of Nations. *The Quarterly Journal of Economics*. 112(4). P. 1027-1056. DOI: 10.1162/003355300555411

Alesina A., Spolaore E. 2003. *The Size of Nations*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

Alesina A., Easterly W., Matuszeski J. 2011. Artificial States. *Journal of European Economic Association*. 9(2). P. 246-277. DOI: 10.1111/j.1542-4774.2010.01009.x

- Aliyev H. 2017. Precipitating State Failure: Do Civil Wars and Violent Non-State Actors Create Failed States? *Third World Quarterly*. 38(9). P. 973-1989. DOI: 10.1080/01436597.2017.1319276
- Arbatli C.E., Ashraf Q.H., Galor O., Clemp M. 2020. Diversity and Conflict. *Econometrica*. 88(2). P. 727-797. DOI: 10.3982/ECTA13734
- Ault J.K., Spicer A. 2019. State Fragility as a Multi-Dimensional Construct for International Entrepreneurship Research and Practice. *Asia Pacific Journal of Management*. №37. P. 981-1011. DOI: 10.1007/s10490-018-09641-1
- Baliamoune-Lutz M., McGillivray M. 2011. State Fragility: Concept and Measurement. *Fragile States: Causes, Costs, and Responses*. Naudé W., Santos-Paulino A.U., McGillivray M. (eds.). Oxford: Oxford University Press. P. 33-42. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199693153.001.0001
- Bartolini S. 2005. *Restructuring Europe: Centre Formation, System Building and Political Structuring between the Nation-State and the European Union*. New York: Oxford University Press.
- Berdal M., Serrano M. 2002. Transnational Organized Crime and International Security: the New Topography. *Transnational Organized Crime and International Security: Business as Usual?* Berdal M., Serrano M. (eds.) Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers. P. 197-207.
- Besley T.J., Persson T. 2008a. *The Incidence of Civil War: Theory and Evidence*. NBER Working Paper №14585. Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research.
- Besley T.J., Persson T. 2008b. Wars and State Capacity. *Journal of the European Economic Association*. 6(2-3). P. 522-530. DOI: 10.1162/JEEA.2008.6.2-3.522
- Bilgin P., Morton A.D. 2004. From 'Rogue' to 'Failed' states? The Fallacy of Short-Termism. *Politics*. 24(3). P. 169-180. DOI: 10.1111/j.1467-9256.2004.00217.x
- Brinkerhoff D.W. (Ed.) 2007. *Governance in Post-Conflict Societies: Rebuilding Fragile States*. New York: Routledge.
- Brinkerhoff D.W. 2011. State Fragility and Governance: Conflict Mitigation and Subnational Perspectives. *Development Policy Review*. 29(2). P. 131-153. DOI: 10.1111/j.1467-7679.2011.00529.x
- Brinkerhoff D.W. 2019. State Fragility, International Development Policy, and Global Responses. *The Oxford Handbook of Global Policy and Transnational Administration*. Stone D., Moloney K. (eds.). New York: Oxford University Press. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780198758648.013.4
- Brooks R.E. 2005. Failed States, or the State as Failure? *The University of Chicago Law Review*. 72(4). P. 1159-1196.
- Boås M. 2017. Fragile States as the New Development Agenda? *Forum for Development Studies*. 44(1). P. 149-154. DOI: 10.1080/08039410.2017.1264737.
- Burke M.B., Miguel E., Satyanath S., Dykema J., Lobell D. 2009. Warming Increases the Risk of Civil War in Africa. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 106(49). P. 20670-20674. DOI: 10.1073/pnas.0907998106
- Buterbaugh K.N., Calin C., Marchant-Shapiro T. 2017. Predicting Revolt: Fragility Indexes and the Level of Violence and Instability in the Arab Spring. *Terrorism and Political Violence*. 29(3). P. 483-508. DOI: 10.1080/09546553.2015.1049343
- Call CT 2011. Beyond the 'Failed State': Toward Conceptual Alternatives. *European Journal of International Relations*. 17(2). P. 303-326. DOI: 10.1177/1354066109353137
- Call CT 2017. The Lingering Problem of Fragile States. *The Washington Quarterly*. 39(4). P. 193-209. DOI: 10.1080/0163660X.2016.1261560
- Carment D., Landry J., Samy Y., Shaw S. 2015. Towards a Theory of Fragile State Transitions: Evidence from Yemen, Bangladesh and Laos. *Third World Quarterly*. 36(7). P. 1316-1332. DOI: 10.1080/01436597.2015.1037830

Carment D., Prest S., Samy Y. 2010. *Security, Development, and the Fragile State: Bridging the Gap between Theory and Policy*. London: Routledge. DOI:10.1093/acprof:oso/9780199693153.001.0001

Carment D., Samy Y., Prest S. 2008. State Fragility and Implications for Aid Allocation: An Empirical Analysis. *Conflict Management and Peace Science*. 25(4). P. 349–373. DOI: 10.1080/07388940802397509

Chauvet L., Collier P. 2004. *Development Effectiveness in Fragile States: Spillovers and Turnarounds*. Centre for the Study of African Economies, Department of Economics, Oxford University (Mimeo).

Cliffe S., Manning N. 2008. Practical Approaches to Building State Institutions. *Building States to Build Peace*. Call CT and Wyeth V (eds.). Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers. P. 163–184.

Collier D., Mahon J.E. 1993. Conceptual “Stretching” Revisited: Adapting Categories in Comparative Analysis. *American Political Science Review*. 87(4). P. 845–855. DOI: 10.2307/2938818

Collier P. 2007. *Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It*. New York: Oxford University Press.

Collier P. 2009. The Political Economy of State Failure. *Oxford Review of Economic Policy*. 25(2). P. 219–240. DOI: 10.1093/oxrep/grp013

Collier P., Hoeffler A. 2004. Greed and Grievance in Civil War. *Oxford Economic Papers*. 56(4). P. 563–595. DOI: 10.1093/oep/gpf064

Collier P., Hoeffler A., Rohner D. 2009. Beyond Greed and Grievance: Feasibility and Civil War. *Oxford Economic Papers*. 61(1). P. 1–27. DOI: 10.1093/oep/gpn029

De Waal A. 2014. When Kleptocracy Becomes Insolvent: Brute Causes of the Civil War in South Sudan. *African Affairs*. 113(452). P. 347–369. DOI: 10.1093/afraf/adu028

Di John J. 2010. The Concept, Causes, and Consequences of Failed States: A Critical Review of the Literature and Agenda for Research with Specific Reference to Sub-Saharan Africa. *European Journal of Development Research* 22(1). P. 10–30. DOI: 10.1057/ejdr.2009.44

Duffield M. 2001. Governing the Borderlands: Decoding the Power of Aid. *Disasters* 25(4). P. 308–320. DOI: 10.1111/1467-7717.00180

Engberg-Pedersen L., Andersen L., Stepputat F., Jung D. 2008. *Fragile Situations: Background Papers*. DIIS Report 2008: 11. Copenhagen: Danish Institute for International Studies.

Eriksen S.S. 2011. “State Failure” in Theory and Practice: the Idea of the State and the Contradictions of State Formation. *Review of International Studies*. 37(1). P. 229–247. DOI: 10.1017/S0260210510000409

Escobar A. 2011. *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton: Princeton University Press.

Faust J., Grävingsholt J., Ziaja S. 2015. Foreign Aid and the Fragile Consensus on State Fragility. *Journal of International Relations and Development*. 18(4). P. 407–427. DOI: 10.1057/jird.2013.23

Fearon J.D., Laitin D.D. 2004. Neotrusteeship and the Problem of Weak States. *International security*. 28(4). P. 5–43.

Feeny S., McGillivray M. 2009. Aid Allocation to Fragile States: Absorptive Capacity Constraints. *Journal of International Development*. 21(5). P. 618–632. DOI: 10.1002/jid.1502

Ferreira I.A. 2017. Measuring State Fragility: a Review of the Theoretical Groundings of Existing Approaches. *Third World Quarterly*. 38(6). P. 1291–1309. DOI: 10.1080/01436597.2016.1257907

- Gisselquist R.M. 2014. Aid and Institution-Building in Fragile States: What do We Know? What Can Comparative Analysis Add? *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*. 656(1). P. 6-21. DOI: 10.1177/0002716214546991
- Gisselquist R.M. 2015. Good Aid in Hard Places: Learning from 'Successful' Interventions in Fragile Situations. *International Peacekeeping*. 22(4). P. 283-301. DOI: 10.1080/13533312.2015.1059732
- Goldstone J.A. 2008. Pathways to State Failure. *Conflict Management and Peace Science*. 25(4). P. 285-296. DOI: 10.1080/07388940802397343
- Grävingsholt J., Ziaja S., Kreibaum M. 2015. Disaggregating State Fragility: a Method to Establish a Multi-dimensional Empirical Typology. *Third World Quarterly*. 36(7). P. 1281-1298. DOI: 10.1080/01436597.2015.1038340
- Grimm S., Lemay-Hébert N., Nay O. 2014. 'Fragile States': Introducing a Political Concept. *Third World Quarterly*. 35(2). P. 197-209. DOI: 10.1080/01436597.2013.878127
- Hansen T.B., Stepputat F. (eds.). 2001. *States of Imagination: Ethnographic Explorations of the Postcolonial State*. Durham, North Carolina: Duke University Press.
- Hagmann T., Hoehne MV 2009. Failures of the State Failure Debate: Evidence from the Somali Territories. *Journal of International Development*. 21(1). P. 42-57. DOI: 10.1002/jid.1482
- Helman G.B, Ratner S.R. 1993. Saving Failed States. *Foreign Policy*. 89(4). P. 3-20.
- Herbst J. 2000. *States and Power in Africa: Comparative Lessons in Authority and Control*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Iqbal Z., Starr M. 2008. Bad Neighbors: Failed States and Their Consequences. *Conflict Management and Peace Science*. 25(4). P. 315-331. DOI: 10.1080/07388940802397400
- Ismail A.A. 2016. The Political Economy of State Failure: A Social Contract Approach. *Journal of Intervention and Statebuilding*. 10(4). P. 513-529. DOI: 10.1080/17502977.2016.1192825
- Jackson R.H. 1990. *Quasi-States: Sovereignty, International Relations and the Third World*. New York: Cambridge University Press.
- Jackson R.H., Rosberg C.G. 1982. Why Africa's Weak States Persist: The Empirical and the Juridical in Statehood. *World Politics*. 35(1). P. 1-24. DOI: 10.2307/2010277
- Krasner S. 2004. Sharing Sovereignty: New Institutions for Collapsed and Failing States. *International Security* 29(2). P. 85-120.
- Lambach D., Johannis E., Bayer M. 2015. The Causes of State Collapse: Results from a QCA Analysis. *COMPAS Working Paper/ 2015-80*.
- Marshall M.G., Cole B.R. 2017. State Failure: The Problem of Complex Societal-Systems. In: Stohl M., Lichbach M.I., Grabovsky P.N. (eds.) *States and Peoples in Conflict: Transformations of Conflict Studies*. New York: Routledge. P. 184-207.
- Mata J.F., Ziaja S. 2009. *Users' guide on measuring fragility*. Bonn: German Development Institute/UNDP.
- Michalopoulos S., Papaioannou E. 2014. National Institutions and Subnational Development in Africa. *The Quarterly Journal of Economics*. 129(1). P. 151-213. DOI: 10.1093/qje/qjt029
- Michalopoulos S., Papaioannou E. 2020. Historical Legacies and African Development. *Journal of Economic Literature*. 58(1). P. 53. 128 p. DOI: 10.1257/jel.20181447
- Milante G., Woolcock M. 2017. New Approaches to Identifying State Fragility. *Journal of Globalization and Development*. 8(1). P. 1-10. DOI: 10.1515/jgd-2017-0008
- Migdal J.S. 1988. *Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

- Migdal J.S. 2001. *State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute Each Other*. New York: Cambridge University Press.
- Miguel E., Satyanath S. 2011. Re-Examining Economic Shocks and Civil Conflict. *American Economic Journal: Applied Economics*. 3(4). P. 228-232. DOI: 10.1257/app.3.4.228
- Naudé W., Santos-Paulino A.U., McGillivray M. (eds.). 2011. *Fragile States: Causes, Costs, and Responses*. Oxford: Oxford University Press.
- Nay O. 2013. Fragile and Failed States: Critical Perspectives on Conceptual Hybrids. *International Political Science Review*. 34(3). P. 326–341. DOI:10.1177/0192512113480054
- Nay O. 2014. International Organisations and the Production of Hegemonic Knowledge: How the World Bank and the OECD Helped Invent the Fragile State Concept. *Third World Quarterly*. 35(2). P. 210-231. DOI: 10.1080/01436597.2014.878128
- North D.C., Wallis J.J., Webb S.B., Weingast B. 2012. Limited access Orders. In *the Shadow of Violence: Politics, Economics, and the Problems of Development*. North DC, Wallis JJ, Webb SB, Weingast B. (eds.). New York: Cambridge University Press. P. 1-23. DOI: 10.1017/CBO9781139013611.001
- Nettl J.P. 1968. The State as a Conceptual Variable. *World Politics*. 20(4). P. 559-592. DOI: 10.2307/2009684
- Patrick S. 2007. “Failed” States and Global Security: Empirical Questions and Policy Dilemmas. *International Studies Review*. 9(4). P. 644–662.
- Patrick S. 2011. *Weak Links: Fragile States, Global Threats, and International Security*. Oxford: Oxford University Press.
- Melville A., Polunin Y., Ilyin M., Mironyuk M., Timofeev I., Meleshkina E., Vaslavskiy Y. (eds.). 2010. *Political Atlas of the Modern World: An Experiment in Multidimensional Statistical Analysis of the Political Systems of Modern States*. Chichester, United Kingdom: Wiley-Blackwell. DOI: 10.1002/9781444327540
- Olson M. 1993. Dictatorship, Democracy, and Development. *American Political Science Review*. 87(3). P. 567-576. DOI: 10.2307/2938736
- O’Kane R. 1993. Coups d’Etat in Africa: A Political Economy Approach. *Journal of Peace Research*. 30(3). P. 251-270. DOI: 10.1177/0022343393030003002
- Rice S.E., Patrick S. 2008. *Index of State Weakness in the Developing World*. Washington, DC: Brookings Institution.
- Rotberg R.I. 2002. The New Nature of Nation-State Failure. *The Washington Quarterly*. 25(3). P. 83-96. DOI: 10.1162/01636600260046253.
- Ross M.L. 2004. What Do We Know about Natural Resources and Civil War? *Journal of Peace Research*. 41(3). P. 337-356. DOI: 10.1177/0022343304043773
- Saeed R. 2020. The Ubiquity of State Fragility: Fault Lines in the Categorisation and Conceptualisation of Failed and Fragile States. *Social & Legal Studies*. 29(6). P. 767-789. DOI: 10.1177/0964663920906453
- Sandler T. 2015. Terrorism and Counterterrorism: an Overview. *Oxford Economic Papers*. 67(1). P. 1-20. DOI: 10.1093/oepp/gpu039
- Stewart S., Brown G. 2009. *Fragile States*. CRISE Working Paper №51. Oxford: University of Oxford.
- Takeuchi S., Murotani R., Tsunekawa K. 2011. Capacity Traps and Legitimacy Traps: Development Assistance and State Building in Fragile Situations. Kharas K., Makino K., Jung W. (eds.) *Catalyzing Development: A New Vision for Aid*. Washington DC: Brookings Institution Press. P. 127-154.

Taylor S.A.J. 2014. Fragile and Conflict-Affected States: Exploring the Relationship between Governance, Instability and Violence. *Stability*. 3(1). DOI: 10.5334/sta.dy

Tilly C. 1990. *Coercion. Capital, and European States, AD 990-1992*. Cambridge, Massachusetts: Basil Blackwell.

Tir J., Schafer P., Diehl P.F., Goertz G. 1998. Territorial Changes, 1816–1996: Procedures and Data. *Conflict Management and Peace Science*. 16(1). P. 89-97. DOI: 10.1177/073889429801600105

Jerusalem RF 2016. The Colonial Foundations of State Fragility and Failure. *Polity*. 48(4). P. 445-495. DOI: 10.1057/s41279-016-0006-4

USAID. 2005. *Fragile States Strategy*, Pd-Aca-999, January 2005. Washington, DC: US Agency for International Development.

Wallerstein I. 2011. *The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. Los Angeles: University of California Press.

Weber M. 1958. Politics as a Vocation. *From Max Weber: Essays in Sociology*. Gerth H.H. and Wright Mills C. (eds.). New York: Oxford University Press. P. 77-128.

Weigel J.L. 2020. The Participation Dividend of Taxation: How Citizens in Congo Engage More with the state When it Tries to Tax Them. *The Quarterly Journal of Economics*. 135(4). P. 1849-1903. DOI: 10.1093/qje/qjaa019

Whaites A. 2008. States in Development: Understanding State-Building. A DFID Working Paper. London: Department for International Development.

Zacher M.W. 2001. The Territorial Integrity Norm: International Boundaries and the Use of Force. *International Organization*. 55(2). P. 215-250. DOI: 10.1162/00208180151140568

Zartman I.W. 1995. Introduction: Posing the problem of state collapse. *Collapsed States: The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority*. Zartman I.W. (ed.). Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers. P. 1–11.

Bartenev V.I. 2017. Ot "nesostoiavshikhsia gosudarstv" k "neustoichivym sostoianiiam": logika poniatii noi ekvilibristiki [From «Failed States' to «States of Fragility: Logic of Conceptual Acrobatics]. *Polis. Politicheskie issledovaniia*. №2. P. 26-41. DOI: 10.17976/jpps/2017.02.03 (In Russian)

Ilyin M.V. 2011. Predely Gosudarstvennoi Sostoiatel'nosti Stran Mira [Varying Ranges of Individual Countries Stateness]. *Political Science*. №2. P. 60-75. (In Russian)

Kudryashova I.V., Kharitonova O.G. (eds.) 2020. *Metamorfozy razdelennykh obshchestv* [Metamorphoses of Divided Societies]. Moscow: MGIMO-University. (In Russian)

Shevskiy D. 2017. Mekhanizmy krusheniia gosudarstv (makrosotsiologicheskii podkhod) [The Mechanisms of State Collapse (a Macro-Sociological Approach)]. *Sotsiologicheskoe obozrenie*. 16(2). P. 89-110. (In Russian)

Список литературы на русском языке:

Бартнев В.И. 2017. От «несостоявшихся к государств» к «неустойчивым состояниям»: логика понятийной эквilibристике. *Полис. Политические исследования*. № 2. С. 26-41. DOI: 10.17976/jpps/2017.02.03

Ильин М.В. 2011. Пределы государственной состоятельности стран мира. *Политическая наука*. №2. С. 60-75.

Кудряшова И.В., Харитонов О.Г. (ред.). 2020. *Метаморфозы разделённых обществ*. Москва: МГИМО-Университет. 284 с.

Шевский Д. 2017. Механизмы крушения государств: макросоциологический подход. *Социологическое обозрение*. №2. С. 89-110. DOI: 10.17323/1728-192X-2017-2-89-110



Эффективность санкций в международной политике

В.А. Силаева

Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России

Несмотря на то, что в западной науке накопился большой объём эмпирических и практико-ориентированных исследований в области эффективности политики санкций, эта проблема остаётся дискуссионной: учёным не удаётся прийти к консенсусу и выработать единую теорию. Цель статьи состоит в том, чтобы, изучив многообразие выработанных подходов к эффективности санкционной политики, объяснить, почему исследователи приходят к противоречивым и взаимоисключающим выводам о влиянии конкретных факторов и условий на исход санкционного давления. Гипотеза заключается в том, что причины разногласий в большой степени коренятся в различных подходах к концептуализации базовых понятий – «санкций» и «эффективности». Они приводят к кодированию одних и тех же кейсов как успешных или же неэффективных и не позволяют получить одинаковые результаты посредством статистических методов анализа. Основные линии размежевания проходят между сторонниками традиционно-реалистского и расширительно-либералистского понимания санкционного инструмента. Не прекращаются споры между теми, кто придерживается идеи давления на целевую страну путём нанесения серьёзного экономического ущерба, и теми, кто выступает за таргетированные меры; между теми, кто обосновывает эффективность многосторонних санкций контролем над ресурсами, пытается понять механизмы функционирования и выявляет слабости «коалиций по случаю», или видит единственный путь к получению эффекта от санкций в поддержке со стороны международных организаций; между теми, кто фокусирует внимание на целевой стране, и теми, кого интересует давление на союзников.

В статье предпринята попытка систематизировать существующие подходы к концептуализации базовых понятий и подвести под теоретические рамки политической науки вытекающие из их различий ключевые научные споры о критериях и условиях эффективности санкционного давления. Для российского научного дискурса теоретическое осмысление западных подходов к изучению причин и условий эффективности санкций может быть полезно для структурированного понимания принципов, на которых базируется политика санкций, тенденций в её развитии, а также для выработки на основе этих знаний грамотных стратегий реагирования и торга.

Ключевые слова: геополитическое пространство, империя, институциональная матрица, базовые институты, редистрибутивная экономика, рыночные отношения, кризис, точка бифуркации, интеграция, институциональные трансформации.

УДК: 327.8

Поступила в редакцию: 17.06.2020 г.

Принята к публикации: 03.11.2020 г.

В последние десятилетия экономические санкции становятся всё более востребованным инструментом внешней политики. К ним прибегают как в качестве самостоятельной стратегии, так и в качестве альтернативы военной силе. Политические деятели используют этот инструмент зачастую в обход Совета Безопасности ООН, выстраивая «коалиции по случаю» или в одностороннем порядке, аргументируя свои действия вопросами международной или национальной безопасности. Санкции применяются в отношении государств, спонсирующих терроризм (Ливия, Иран), разрабатывающих ядерное оружие (Иран, КНДР), массово нарушающих права человека (ЮАР), не соблюдающих демократические принципы (Куба) и международное право в целом (Сирия). Круг вопросов, в связи с которыми страны оказывают санкционное давление на своих контрагентов, постоянно расширяется¹. Развивается инструментарий, усложняются механизмы санкционного воздействия: от всеобъемлющих торговых эмбарго, популярных в середине XX в., до современных таргетированных финансовых рестрикций; от преимущественно неэкономических персональных мер, таких как запрет на въезд или заморозка счетов, до секторальных санкций, подрывающих экономику целевой страны.

Несмотря на это, учёные, исследующие эффективность экономических санкций как внешнеполитического инструмента, приходят к противоречивым выводам об их результативности и способности привести к достижению политического результата, ради которого они вводились (Haass 1997). Новые санкционные случаи порождают новые исследования, в том числе, новые попытки выявить факторы и условия эффективности санкций (Taskinsoy 2020; Crozet, Hinz 2020). В результате накоплена обширная научная литература по вопросу эффективности санкционной политики. За десятилетия исследовательской деятельности выработано многообразие концептуальных и методологических подходов к изучению условий и причин, влияющих на успешность санкционной политики, описано множество индивидуальных кейсов применения санкционного давления. Несмотря на это, учёным до сих пор не удалось прийти к консенсусу и выработать единую теорию эффективности санкций. Зачастую выводы о наличии позитивной зависимости между определённой переменной и успешностью санкционной политики, подтверждённые одними учёными, опровергаются их коллегами, использовавшими альтернативные методы или иную эмпирическую базу.

Цель статьи – объяснить, почему исследователи приходят к противоречивым и взаимоисключающим выводам о том, какое значение имеют конкретные причины и условия эффективности санкций. Гипотеза заключается в том, что

¹ Среди новых санкционных предлогов можно назвать ситуационные санкции против Китая по обвинению в нарушении прав человека в СУАР и в связи с ситуацией в Гонконге, а также против китайской телекоммуникационной компании Huawei, санкции в отношении проекта «Северный поток – 2», против России в связи с «делом Скрипалей».

причины разногласий в большой степени вызваны различиями в подходах к концептуализации базовых понятий – «санкций» и «эффективности». Они влекут за собой методологические последствия: одни и те же санкционные кейсы при анализе на основе математического моделирования и статистических методов в исследованиях разных учёных кодируются как успешные или же как неэффективные, что приводит к разным результатам. Например, авторы классического труда по этой теме «Новый анализ экономических санкций» во главе с Г. Хафбауэром (Economic Sanctions... 2007) подсчитали на основе составленной ими из около 200 кейсов базы данных HSE, что санкции приводят к запланированному результату в трети случаев. Критиковавший их Р. Пейп после перекодирования получил результат, согласно которому достигшими результата могут считаться лишь 5% кейсов (Pape 1997). Авторы новой базы данных TIES во главе с Н. Бапатом и Т. Морганом (Morgan, Barat, Krustev 2009) кодировали как неудачные случаи, при которых санкции были введены после «не сработавшей» угрозы, что также привело их к совершенно иным выводам.

В статье предпринята попытка систематизировать существующие подходы к концептуализации базовых понятий и подвести под теоретические рамки политической науки вытекающие из их различий ключевые научные споры о критериях и условиях эффективности санкционного давления. Основные линии размежевания проходят между сторонниками традиционно-реалистского и расширительно-либералистского понимания санкционного инструмента.

В статье рассматриваются преимущественно работы западных (американских и европейских) исследователей. Изучение проблемы эффективности санкций в их работах носит не столько теоретический, сколько прикладной, практико-ориентированный характер и преследует задачу выявления наиболее действенных, с точки зрения достижения внешнеполитических целей их стран, способов санкционного давления. Учитывая, что Россия является объектом американских и европейских рестрикций, для российского научного дискурса теоретическое осмысление подходов к изучению факторов эффективности санкций может быть полезно с иных позиций. Во-первых, эта работа призвана сделать шаг в направлении структурированного понимания того, на каких принципах основывается политика санкций, взаимодействие между странами-инициаторами санкций, между ними и целевыми государствами. Во-вторых, знание существующих подходов и условий их выбора, а также тенденций в развитии санкционной политики, востребовано для выработки грамотных стратегий реагирования и торга.

Эффективность экономических санкций: сложности концептуализации и спор о критериях

Наличие большого числа подходов к исследованию и измерению эффективности санкционного давления порождается отсутствием консенсуса отно-

сительно критериев успешности этого инструмента, то есть того, какие случаи применения санкций и при каких обстоятельствах считать достигшими целей, ради которых они вводились. Основные противоречия коренятся в многообразии способов концептуализации базовых понятий – «санкций» и «эффективности санкционной политики», – что приводит к различным способам кодирования одних и тех же случаев и не позволяет получить одинаковые результаты в исследованиях с использованием статистических методов.

Особенности концептуализации понятия «санкции»

На данный момент единого определения санкций, которое включало бы в себя все необходимые и достаточные признаки этого инструмента, не выработано. В статье 41 Устава ООН санкции обозначены как меры, не связанные с использованием вооружённых сил². Эта широкая негативная дефиниция не даёт чёткого понимания предмета, а указанные в Уставе конкретизирующие меры не охватывают всего многообразия применяемых на практике инструментов. В частности, упоминается лишь «полный или частичный перерыв» экономических или дипломатических отношений, встречающийся нечасто в политической практике. За рамки ооновского определения выходят финансовые инструменты, персональные рестрикции, иные виды дипломатических сигналов, таргетированные и секторальные меры (Portela 2014).

Отечественный исследователь тематики санкций И.Н. Тимофеев (Тимофеев 2018) вслед за Р. Пейпом (Pape 1997: 94) разводит экономические санкции как инструмент внешней политики и использование мер экономического характера для достижения конкурентных преимуществ на рынке – второе, скорее, относится к понятию торговой войны.

Ещё один дискуссионный аспект концептуализации санкций – вопрос о том, являются ли они самостоятельной стратегией или альтернативой военной силе (Baldwin, Pape 1998). В первом случае санкции как стратегия включают в себя другие инструменты (например, дипломатические усилия) и используются как средство принуждения руководства страны-цели к тому, чтобы сесть за стол переговоров, а их результативность оценивается по кумулятивному эффекту. Во втором случае вопрос о том, применять ли санкции, базируется на сравнении эффективности двух инструментов (экономические санкции и военное принуждение) не с точки зрения вероятности достижения поставленной цели, а с позиций анализа выгод и издержек. И в этом смысле санкции, как менее затратный инструмент, могут оказаться более полезными (Pape 1998).

Для целей данного исследования интересна ещё одна дихотомия, которая, с одной стороны, влечёт за собой методологические последствия, с другой – позволяет провести основные разделительные линии между группами противо-

² Устав Организации Объединённых Наций, подписан 26 июня 1945 г., Сан-Франциско. (Электронный доступ) URL: <https://www.un.org/ru/charter-united-nations/> (дата обращения 13.08.2021)

речащих друг другу теоретических выводов исследователей. Можно условно обозначить эти подходы как традиционно-реалистский и расширительно-либералистский.

Традиционное определение санкций вписывается в реалистскую парадигму международных отношений. В классической версии оно было сформулировано авторским коллективом во главе с Гэри Хафбауэром в хрестоматийном труде по данной теме «Новый анализ экономических санкций» (*Economic Sanctions...* 2007)³. Авторы понимают под санкциями намеренные действия страны-инициатора, коалиции таких стран или международных организаций по сокращению, ограничению или выходу из таможенных, торговых или финансовых отношений с целевой страной для достижения политических целей, в частности изменения политического режима, основ или отдельных составляющих внутренней и внешней политики, выполнения или отказа от определённых политических обязательств. Это определение можно сформулировать в более короткой и универсальной форме: намеренные действия, предпринимаемые с целью прекращения или изменения политики целевого государства в интересах страны-инициатора. Такой подход фокусируется на политической природе санкций, понимаемых как инструмент принуждения. Механизм их действия, по обобщению Р. Пейпа (Pape 1998), подчиняется линейной логике: снижение экономического благополучия ведёт либо к прямому принуждению путём убеждения правительства, что издержки слишком высоки и не стоят проводимой политики, либо косвенно – через общественное недовольство, которое принуждает изменить политику, или через восстание и смену режима. Дж. Галтунг назвал такую линейную схему «общей теорией экономических санкций» (Galtung 1967): экономическое наказание – экономическая дезинтеграция – политическая дезинтеграция – подчинение. Успех (с точки зрения инициаторов) санкционной политики зависит, в первую очередь, от асимметричного распределения власти и ресурсов, а оценивается по дихотомии «произошло изменение политики или нет».

Несмотря на теоретическую стройность традиционно-реалистского подхода, исследования конкретных кейсов демонстрируют противоречащие ему результаты и позволяют выделить не учитываемые в его рамках факторы (Напр.: Giunelli, Ivan 2013). Ряд учёных даёт более расширенную трактовку санкций, в частности, включая в нее иные политические цели и функции. Такая трактовка подпадает под либералистскую парадигму международных отношений, которая не отвергает категорию силы, но предлагает разнообразие вариантов аргументации для задействования санкций как внешнеполитического инструмента (Алексеева 2015). Именно в рамках этой парадигмы становится возможным исследовать широкий спектр политических целей, достижение которых позволит квалифицировать санкции как успешные.

³ Книга переиздавалась в 1985, 1990 и 2007 гг.

Например, Д. Болдуин считает, что любая попытка влияния есть политический акт, а значит, любые подходящие под это определение цели рассматриваются как политические (Baldwin, Pape 1998). Ф. Джумелли подразделяет политические цели на три блока: принуждение, сдерживание, сигнализирование (Giunelli 2016). Принуждение нацелено на непосредственное решение об изменении или прекращении политической деятельности целевой страной. Сдерживание связано с ограничением военного, технологического, экономического потенциала страны, что должно сделать невыгодным или даже невозможным продолжение политического курса. Сигнальная функция реализуется, если санкции наносят лишь символический ущерб, но посылают мощный сигнал недовольства политикой, проводимой целевой страной (такие санкции называют токенистическими) (Vines 2012). Учёные выделяют и другие политические цели, преследуемые инициаторами санкций. Например, Т. Вэнг рассматривает использование санкций для решения внутренних вопросов (Whang 2011), Д. Дрезнер пишет о возможностях использования санкций для получения более выгодной переговорной позиции (Drezner 2000). Присоединение к санкционному режиму может также служить в качестве демонстрации солидарности с группой на основе разделяемых или декларируемых её членами ценностей (Portela 2014). Наиболее общее в рамках этого подхода определение даёт специалист по рестрикциям Европейского союза К. Портела: санкции – это политически мотивированное лишение целевого актора выгоды, которую он мог бы получить, притом, что возобновление её предоставления ставится в зависимость от выполнения ряда условий, определённых инициатором санкций (Portela 2014).

В рамках реалистской парадигмы просматривается ещё одна линия размежевания. Помимо традиционной линейной схемы, описанной выше, санкции анализируются по аналогии с военной силой. В этом случае предполагается, что властный потенциал санкций основан на ресурсном превосходстве государства-инициатора и, так же как военная сила, не требует реализации. Инструментом принуждения выступают не сами санкции, а угроза и перспектива их введения в отношении «неудобной» страны (Morgan, Barat, Kobayashi 2014; Blake, Klemm 2006). Если же доходит до применения этого инструмента, такой случай рассматривается и кодируется как неуспешный. В результате сформировалось две конкурирующие базы данных, на основе которых производится большая часть современных количественных статистических исследований санкционных режимов.

Одну из наиболее широко использовавшихся баз данных создали Г. Хафбауэр, Дж. Шотт, К. Эллиотт в книге «Новый анализ экономических санкций» (Economic Sanctions... 2007)⁴. Они описали около 200 случаев применения экономических санкций в качестве политического инструмента за период после

⁴ База данных получила условное обозначение «HSE» по первым буквам фамилий основных авторов.

Первой мировой войны и пришли к выводу, что только около трети случаев могут считаться успешными. В 2009 г. Т. Морган, Н. Вапат и В. Крастев создали расширенную базу данных TIES (*Threat and Imposition of Economic Sanctions dataset*) (Morgan, Varat, Krustev 2009), добавив в неё не только новые кейсы, но и случаи, когда страны-инициаторы только угрожали ввести санкции, но не применяли сам инструмент. Эта база данных получила широкое распространение и качественное теоретическое обоснование и заняла прочное место в исследовании условий эффективности санкций (Morgan, Varat, Kobayashi 2014).

Спор о критериях эффективности политик санкций

В англоязычной литературе используется несколько релевантных для обозначения разных аспектов эффективности слов: *impact*, *effectiveness*, *efficiency*, *utility*. Они имеют смысловые оттенки, которые хорошо отражают разные аспекты эффективности. Несмотря на это, у учёных зачастую возникают разногласия по вопросу того, какие случаи применения санкций квалифицировать как успешные, и как измерить эффективность. Об этих дискуссиях упоминает Д. Болдуин в своём споре с Р. Пейпом (Baldwin, Peare 1998).

Понятие «*effectiveness*» понимается как «результативность» (Galtung 1967). Оно соответствует традиционному подходу к определению санкций как инструменту принуждения. В этом случае успешными будут считаться те санкционные случаи, в которых произошло изменение политики целевой страны, то есть, достигнут результат.

Понятие «*impact*» можно перевести как «воздействие» (Kaempfer, Lowenberg 1988; Giumelli, Ivan 2013). Оно обозначает непосредственное воздействие санкций на целевую страну, нанесённый ей экономический, финансовый, репутационный ущерб. «Воздействие» необходимо развести с понятием «эффективности», так как зависимость между нанесённым целевой стране ущербом и изменением её политики не всегда прямая – в противоречие традиционному пониманию санкционного механизма, согласно которому, чем выше нанесённый целевой стране ущерб, тем вероятнее достижение результата, то есть изменение её политического поведения.

Понятие «*efficiency*» (Baldwin, Peare 1998) – эффективность в экономическом понимании этого слова в терминах анализа выгод-издержек (*cost-effectiveness analysis*). В этом случае результат рассматривается как относительное понятие, учитывается ущерб экономике страны-инициатора и альтернативные издержки при возможном задействовании других инструментов.

Понятие «*utility*» означает «полезность» (Giumelli, Ivan 2013; Kaempfer, Lowenberg 1988). Термин применяется, если учёные используют расширительную трактовку санкций, то есть допускают, что санкции могут преследовать более широкие цели, чем непосредственное изменение поведения целевой страны. В этом случае успешными будут считаться и те санкции, которые не привели к изменению политического курса подвергнутого санкциям государства (то есть,

не оказались результативными), но позволили инициаторам консолидировать внутреннюю аудиторию, подать сигнал о своём несогласии с линией целевого государства или занять более выгодную переговорную позицию.

Дискуссия развивается не только вокруг выбора аспекта эффективности, в соответствии с которым нужно исследовать факторы успешности санкционной политики, но и вокруг того, нужно ли вообще проводить такую детальную дифференциацию видов эффективности. В частности, Р. Пейп считает, что только понятие «результативность» (*effectiveness*) требует изучения в контексте санкционного давления, поскольку лишь оно соответствует традиционному пониманию санкций (Pape 1997). Это влечёт за собой методологические последствия: решение о том, квалифицировать санкционный кейс как успешный или неуспешный, подчиняется строгой дихотомии – было достигнуто изменение политики целевой страны или нет. Напротив, дифференциация понятий эффективности, на которой настаивает, например, Д. Болдуин (Baldwin, Pape 1998), коррелирует с расширительной трактовкой санкций, допускающей различные политические цели и позволяющей считать успешными большее разнообразие санкционных кейсов.

Научные дискуссии о факторах и условиях эффективности политики санкций

Учёные выделяют ряд факторов и условий эффективности санкций. Их можно условно разделить на четыре категории: те, которые, по мнению учёных, коренятся в конфигурации санкционной политики (наличие секторальных, финансовых или таргетированных мер); в объекте санкций, то есть целевой стране (нанесённый санкциями ущерб, тип политической системы, уровень стабильности и консолидации режима, степень диверсификации экономики и вовлечённости в международные отношения); в инициаторе санкций (наличие коалиции, «чёрных рыцарей»⁵ (Early 2011), поддержка международной организации, ущерб от санкций); в характере отношений инициатора и цели (партнёрские или антагонистические отношения, уровень зависимости).

Несмотря на то, что существуют статистические исследования, подкрепляющие каждый из этих факторов (Varat et al 2013), различия в способах концептуализации базовых понятий – санкций и эффективности – приводят к тому, что некоторые из них являются взаимоисключающими или прямо противоположными по смыслу. Большой интерес представляют разворачивающиеся в связи с этим оживленные научные дискуссии.

⁵ «Чёрными рыцарями» называются страны или другие акторы, предоставляющие альтернативные торговые или финансовые возможности для стран под санкциями, что позволяет уменьшить ущерб от санкционного давления.

Существенный ущерб для целевой страны vs. таргетированные санкции

Практическое значение имеет продолжающийся на протяжении нескольких десятилетий спор между сторонниками нанесения в результате политики санкций существенного экономического ущерба целевой стране и сторонниками таргетированных санкций.

Первое мнение базируется на уже описанной выше традиционной логике санкционного давления, в соответствии с которой экономический ущерб от санкций приводит либо к изменению политики целевой страны, либо к смене власти. Изначально описанная выше цепочка была разработана Дж. Галтунгом по итогам санкций против Южной Родезии в 1960-х гг., которые вызвали существенное общественное недовольство, и властям страны пришлось пойти на уступки, чтобы восстановить стабильность. Ярким современным примером может служить случай антииранских санкций до 2015 г., когда давление оказалось настолько существенным, что руководство Ирана, в отсутствие возможности компенсировать перекрытые каналы, необходимые для обеспечения жизнедеятельности страны, вынуждено было сесть за стол переговоров и пойти на значительные уступки. В рамках этой «наивной теории», по выражению самого Дж. Галтунга (Galtung 1967: 386), экономическое давление действует по тому же принципу, что и военные действия, – их целью является дезинтеграция и дестабилизация страны-цели для того, чтобы на неё легче было проецировать власть.

У второй позиции есть как практическое, так и гуманитарное измерение. Изначально идея таргетированных, или «умных», санкций (*targeted/smart sanctions*) (Lopez, Cortright 2004; Drezner 2011) родилась под впечатлением от разрушительных для населения Ирака последствий всеобъемлющего эмбарго 1991 г. Эти события заставили задуматься о разработке такого санкционного дизайна, который влиял бы на элиты, непосредственно ответственные за проведение определённого политического курса, но не затрагивал население страны. Как правило, это персональные санкции, такие как запрет на передвижение или заморозка счетов, финансовые инструменты или меры, направленные на конкретную отрасль (технологии или энергоресурсы), которые в меньшей степени или не напрямую влияют на уровень жизни широких слоев населения. В то же время сохраняются сомнения в том, что таргетированные санкции позволяют в полной мере избежать страданий и нарушения прав человека в целевой стране⁶, а также в их эффективности (Drezner 2003).

Второй аргумент против нанесения всеобъемлющего ущерба заключается в том, что санкции в целевой стране воспринимаются как недружественная акция государства-противника, нарушение суверенитета или даже нападение.

⁶ Jazairi I. 2018. Report of the Special Rapporteur on the Negative Impact of Unilateral Coercive Measures on the Enjoyment of Human Rights on His Mission to the Syrian Arab Republic. *United Nations General Assembly Human Rights Council Thirty-Sixth Session*.

Итогом может стать эффект «осаждённой крепости» и консолидация режима. В этом случае руководство целевой страны скорее всего не будет готово идти на уступки, что приведёт санкционный режим в тупик: в отсутствие результата (то есть выполнения требований страны-инициатора) продолжать санкционное давление становится бессмысленно, а снять – проблематично из-за сложностей объяснения этого решения как для внутренней аудитории, так и союзникам на международной арене, а также институциональных ограничений (Chen 2017). По подобной схеме развивается ситуация в КНДР, и хотя экономический ущерб от санкций смягчается из-за слабой вовлечённости страны в международные экономические отношения, а также торговли с Китаем, ограничительные меры не приводят к уступкам по вопросу ядерного оружия (Park 2014). Проиллюстрировать отсутствие институциональной гибкости в случае с санкциями можно на примере так называемой поправки Джексона-Вэника: к Закону о торговле 1974 г.⁷, принятой в отношении СССР в 1975 г. Формальной причиной послужила практика ограничения выезда евреев из страны, что перестало быть актуальным с распадом Советского Союза. Однако, закрепленная Конгрессом США на законодательном уровне (в отличие от абсолютного большинства других американских санкций, которые относятся к ведению исполнительной власти и могут быть отменены указом президента), поправка могла быть официально снята только в результате консенсусного решения американского парламента и в итоге продержалась до 2012 г.

Многосторонние vs. односторонние санкции

Ещё одна дискуссия разгорелась между сторонниками введения многосторонних санкций и теми, кто считает, что большая коалиция стран-инициаторов скорее снизит эффективность этого инструмента. С одной стороны, построенные коалиции и солидарность большого числа стран западными политиками считается условием успеха санкционной политики⁸. Этой позиции придерживаются такие исследователи, как Н. Бапат и К. Морган (Bapat, Morgan 2009), исходя из того, что большая коалиция может нанести более существенный экономический ущерб, сократить число «чёрных рыцарей» и путей обхода санкций, оказать более сильное репутационное воздействие. Дж. Мэйол считает, что решение ввести санкции должно быть неразрывно связано с дипломатическими

⁷ The Jackson-Vanik amendment (Section 401, Title IV of the Trade Act of 1974, P.L. 93-618), signed into law on January 3, 1975 by President Gerald Ford. URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/19/chapter-12/subchapter-IV> (accessed 13.08.2021); Ginsberg, Julie, Reassessing the Jackson-Vanik Amendment. *Council on Foreign Relations*. July 2, 2009. URL: <http://www.cfr.org/trade/reassessing-jackson-vanik-amendment/p19734> (accessed 13.08.2021)

⁸ Например, в интервью изданию Fox News от 15 октября 2006 г. госсекретарь США К. Райс так прокомментировала голосование в СБ ООН (в том числе Китая) за резолюцию о введении санкций в отношении КНДР: «Это существенное единство целей и единство посыла... Нельзя недооценивать, какой большой удар нанесён по Северной Корее тем, что все её соседи, включая и того, кто оказывал ей сильнейшую поддержку – Китай, – полностью объединились по вопросу введения санкций против её ядерной программы». URL: <https://2001-2009.state.gov/secretary/rm/2006/74014.htm> (accessed 13.08.2021)

усилиями по убеждению союзников последовать примеру первого инициатора (Mayall 1984: 639). С ними согласен и Р. Хаас: многосторонняя поддержка политики санкций должна служить предпосылкой для их введения (Haass 1998: 206). По мнению Болдуина, уже сам факт привлечения союзников к санкциям делает их успешными независимо от реакции целевого государства (Baldwin 1985: 192). Согласно другому аргументу, если достаточное количество государств сотрудничают, они могут регулировать международную систему и наказывать за несоблюдение правил игры (Drezner 2000).

Однако существует большой пласт научных работ, доказывающих обратное. Например, по подсчетам Г. Хафбауэра, нет статистического подтверждения влияния многостороннего сотрудничества на успех санкций (Economic Sanctions... 2007). Аргументацию в пользу этой позиции можно свести к трём гипотезам. В качестве первой причины выделяют особенности выборки: поводом для санкций, вводимых группой государств, становятся вопросы, имеющие высокую ценность как для стран-инициаторов, так и для стран-целей. Это значит, что целевые государства будут готовы выдержать более существенные лишения, и санкции с меньшей вероятностью приведут к результату, независимо от числа инициаторов (Lacy, Niou 2004). Второй тип аргументации опирается на теорию общественного блага. В соответствии с ней, политическая цель санкций, например, прекращение спонсирования терроризма или остановка ядерной программы, становится для инициаторов общественным благом, которое они получают независимо от того, будут ли соблюдать санкционный режим, жертвуя своими торговыми интересами. В результате возникает «эффект безбилетника»: часть коалиции может игнорировать ограничительные меры, снижая возможность контролировать эффект от санкций и их общую результативность (Kaempfer, Lowenberg 2002). Третий блок аргументации коренится в пространственной теории и теореме хаоса (Miers, Morgan 2002). Коалиции, особенно собранной «по случаю» (*ad hoc*) (Drezner 2000)⁹, оказывается сложно выработать единую формулировку политических требований, реализация которых будет считаться успехом санкционной политики. Члены коалиции обладают разными национальными политическими и экономическими интересами, и их общее санкционное требование всегда будет компромиссом, не устраивающим в полной мере интересы никого из них. Кроме того, в случае изменения ситуации или частичных уступок целевой страны придётся договариваться заново, уже в новых условиях, что может привести к провалу «общего дела». Н. Бапат и К. Морган

⁹ Коалиция «по случаю», в отличие от институциональной структуры, собирается по инициативе одной страны под конкретную задачу (например, одобрение резолюции по определенному вопросу, посредничество в переговорном процессе для урегулирования определенного конфликта, оказание санкционного давления под определенным предлогом) и, как правило, распадается после выполнения задачи или признания неудачи в достижении результата. Члены такой коалиции не связаны формальными обязательствами, преследуют собственные интересы и могут прервать своё участие в ней, если ситуация стала для них не выгодна.

(Varat, Morgan 2009) рассматривают все три аргумента сторонников односторонних санкций на основе базы данных TIES и приходят к выводу, что первая и вторая гипотезы не находят статистического подтверждения, а третья может быть реализована только при условии наличия единственного требования и контроля со стороны международной организации. О важности поддержки со стороны международных институтов пишет и Д. Дрезнер (Drezner 2000). По результатам его анализа, многосторонняя ad hoc-коалиция инициаторов оказывается менее способной принудить целевое государство к изменению политического поведения, чем односторонний санкционный режим, однако, наличие институциональной эгиды обеспечивает большую результативность санкций. Объяснение Д. Дрезнера строится на аналитическом разложении санкционной политики на три этапа – торг между союзниками, торг с целевой страной и принуждение. На стадии торга между союзниками для сбора коалиции основной инициатор санкций прибегает к достаточно сильной аргументации, чтобы заставить страны отказаться от выгодных для них торговых, финансовых, транспортных или дипломатических отношений с целевой страной, чего не требуется при одностороннем воздействии. Как правило, наиболее убедительным аргументом становится обращение к ценностям. Однако, обеспечив создание многосторонней коалиции, этот «приём» лишает её гибкости на второй стадии торга – с целевой страной, в первую очередь потому, что обращение к ценностям предполагает расплывчатые и неконкретные требования к целевой стране, в большинстве случаев невыполнимые в полном объёме и не предусматривающие частичные уступки, которые в ином случае могли бы быть приемлемы для обеих сторон. Напротив, поддержка международной организации сама по себе служит элементом фиксации коалиции, координации, а нередко и мониторинга санкционной политики, способствуя её эффективности.

Умеренные санкции против союзников vs. всеобъемлющие санкции против противников

К парадоксальному выводу пришёл Д. Дрезнер (Drezner 1999), проведя исследование на основе теории игр и статистического анализа. По его мнению, умеренные санкции против союзников оказываются более эффективны, чем всеобъемлющие санкции против противников. Объясняется это тем, что и инициаторы, и целевые страны опираются в своём политическом поведении на ожидания от потенциального конфликта. То есть на эффективность санкционной политики влияет то, до какой степени инициатор и цель готовы вовлекаться в будущие конфликты. По Д. Дрезнеру, противники, изначально готовые к конфронтации, склонны чаще вводить санкции против своих контрагентов, но реже готовы идти на уступки – в этом случае санкции не дадут ожидаемого результата. Напротив, союзники неохотно используют принуждение, в том числе экономическое, в своих отношениях, поэтому в случае применения санкций способны оказать очень сильное воздействие. Эффективность вторичных

санкций (введённых, как правило, американцами, против союзников за нарушение санкций против противников) в отношении бизнеса демонстрирует И.Н. Тимофеев (Timofeev 2019). Мотивация компаний по следованию санкционным режимам связана, в частности, с экономическими, а не политическими причинами (перспектива существенных штрафов или необходимость выбирать между американским рынком и торговлей с целевой страной), а нарушение санкций чаще всего вызвано ошибками управления. В итоге санкции США на уровне конкретных западных компаний приводят к статистически значимым результатам, в отличие от мер в отношении противостоящих государств. Однако с «парадоксом Дрезнера» спорят такие учёные, как А. Друри (Drury 1998), И. Нуруддин (Nooruddin 2002) и Б. Эрли (Early 2011). Первый показывает, что санкции способны сработать, только если между страной-инициатором и целью существует асимметричная торговая зависимость, второй и третий продемонстрировали, что в случае американских санкций они менее эффективны в отношении союзников.

* * *

Несмотря на колоссальное количество исследований, как статистических, так и кейс-стади, западным учёным не удаётся выработать единую теорию санкций. Проблема эффективности санкций остаётся дискуссионной. Исследователи выделяют факторы эффективности санкционной политики, но приходят зачастую к противоречивым и взаимоисключающим выводам о том, какое значение имеют конкретные условия. Основные линии размежевания проходят между сторонниками традиционно-реалистского и расширительно-либералистского понимания санкционного инструмента. Это выражается в непрекращающихся спорах между теми, кто придерживается идеи давления на целевую страну путём нанесения серьёзного экономического ущерба и адептами таргетированных санкций; между теми, кто обосновывает эффективность многосторонних санкций контролем над ресурсами, пытается понять механизмы функционирования и выявляет слабости коалиций «по случаю», или видит единственный путь к получению эффекта от санкций в поддержке со стороны международных организаций; между теми, кто фокусирует внимание на целевой стране, и теми, кого интересует давление на союзников. Причины разногласий в большой степени коренятся в различных подходах к концептуализации базовых понятий – санкций и эффективности, которые также подпадают под обозначенную выше дихотомию традиционно-реалистского и расширительно-либералистского.

Первый подход опирается на понимание санкций как средства реализации мощи для принуждения целевой страны к изменению своей политики в интересах инициатора. Это становится возможным в ситуации такого распределения сил на международной арене, при котором ресурсное, экономическое и политическое превосходство инициатора позволяет ему проецировать свою мощь вовне. Выигрышной стратегией считается нанесение существенного ущерба

целевой стране, что в рамках этой стратегии должно либо сподвигнуть её руководство к изменению своего политического курса, либо привести к смене режима. Предпочтительными становятся либо односторонние меры, которые легко имплементировать и контролировать, либо построение международной коалиции для усиления эффекта и снижения числа вероятных «чёрных рыцарей». Санкции рассматриваются как альтернатива военной силе и функционируют по аналогии с ней: подразумевается, что эффективной должна быть уже сама угроза введения санкций, основанная на превосходящем потенциале инициатора. Допускается широкое использование мер «наказания» в форме, например, экстерриториальных санкций в отношении союзников – членов коалиции – за нарушение санкционного режима. Первым инициатором санкций в этой модели является гегемон, опирающийся на поддержку сателлитов, в терминах теории гегемонистской стабильности (Gilpin 1988).

В рамках второго подхода производится попытка объяснить обширный эмпирический материал, выходящий за рамки линейной реалистской логики. Санкции по-прежнему воспринимаются как политический инструмент (это концептуальное ядро понятия сохраняется в любом подходе (Тимофеев 2018)), но при этом допускается разнообразие политических целей, для достижения которых они применяются, в том числе, ориентированных на внутреннюю аудиторию, на кооперацию с другими акторами, на демонстрацию позиции или групповой принадлежности, основанной на ценностях. Национальный интерес не является единственным критерием эффективности санкционной политики. Учитывается также соотношение возможной выгоды от получения уступок от целевой страны с затратами и ущербом от санкций для их инициаторов, гуманитарные последствия, перспектива конфликта в будущем. Большое значение придаётся международным организациям, выполняющим легитимирующую, координирующую, информационную, коммуникативную, наблюдательную роль. Предпочтение отдаётся таргетированным мерам. Учитывается динамика: длительность режима, вероятность изменения позиций участников с течением времени, реакция на частичные уступки или вмешательство внешних, в том числе негосударственных факторов.

Как представляется, до конца снять это противоречие вряд ли возможно как на теоретическом, так и на эмпирическом уровне. На практике каждый санкционный случай представляет собой уникальное сочетание факторов и условий вкуче с национальными и историческими особенностями, поэтому для их изучения, а также для выработки санкционной и контрсанкционной политики требуется учёт контекста. Однако понимание принципов построения, основных дискуссий и трендов санкционной политики в странах-инициаторах полезно для выработки грамотной стратегии реагирования.

Об авторе:

Виктория Андреевна Силаева – соискатель степени кандидата политических наук на кафедре политической теории МГИМО МИД России, 119454, г. Москва, проспект Вернадского, д.76.
E-mail: v1ctoriasilaeva@gmail.com

Конфликт интересов:

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

UDC: 327.8

Received: June 17, 2020

Accepted: November 03, 2020

Effectiveness of Sanctions in International Politics

V.A. Silaeva

[DOI 10.24833/2071-8160-2021-4-79-136-153](https://doi.org/10.24833/2071-8160-2021-4-79-136-153)

Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of Russia

Abstract: Even though IR literature has accumulated a large amount of empirical data and knowledge in sanctions policy effectiveness, this problem remains contested: IR has failed yet to reach a consensus and elaborate the sanctions theory. The article reviews the variety of approaches to evaluating the effectiveness of the sanctions policy and explains why researchers have come to conflicting and mutually exclusive conclusions about the impact of various factors and conditions on the outcome of sanctions pressure. It argues that the disagreement is primarily rooted in different approaches to conceptualizing basic concepts – “sanctions” and “effectiveness”. This disagreement results in coding the same cases as successful and unsuccessful and presents an obstacle to obtaining similar results using statistical analysis. The main demarcation line goes between the realist and liberal understandings of sanctions as a foreign policy tool. This is reflected in the ongoing disputes between those who adhere to the idea of inflicting severe economic damage on the target country and supporters of targeted sanctions; between those who promote multilateral sanctions as capable of causing economic effects, or try to identify weaknesses of ad hoc coalitions, or see the only way to get the effect of sanctions in support from international organizations; between those who focus their research on the target country and those who are interested in pressure on the allies.

Keywords: Economic sanctions, sanctions policy effectiveness, factors and criteria of sanctions effectiveness, multilateral and unilateral sanctions, targeted sanctions, ad hoc coalition, initiating and target states.

About the author:

Victoria A. Silaeva – PhD student, Department of Political Theory, MGIMO University, 119454, Moscow, prospect Vernadskogo, 76; E-mail: v1ctoriasilaeva@gmail.com

Conflict of interest:

The author declares the absence of conflict of interests.

References:

- Baldwin D.A. 1985. *Economic statecraft*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 409 p.
- Baldwin D.A., Pape R.A. 1998. Evaluating Economic Sanctions. *International Security*. 23(2). P. 189–198.
- Bapat N.A., Clifton Morgan T. 2009. Multilateral Versus Unilateral Sanctions Reconsidered: A Test Using New Data. *International Studies Quarterly*. 53(4). P. 1075–1094. DOI: 10.1111/j.1468-2478.2009.00569.x
- Bapat N.A. et al. 2013. Determinants of Sanctions Effectiveness: Sensitivity Analysis Using New Data. *International Interactions*. 39(1). P. 79–98. DOI: 10.1080/03050629.2013.751298
- Blake C.H., Klemm N. 2006. Reconsidering the Effectiveness of International Economic Sanctions: An Examination of Selection Bias. *International Politics*. 43(1). P. 133–149. DOI: 10.1057/palgrave.ip.8800137
- Chen J. 2017. Why Economic Sanctions on North Korea Fail to Work? *China Quarterly of International Strategic Studies*. 3(4). P. 513–534. DOI: 10.1142/S2377740017500300
- Crozet M., Hinz J. 2020. Friendly Fire: the Trade Impact of the Russia Sanctions and Counter-Sanctions. *Economic Policy*. 35(101). P. 97–146. DOI: 10.1093/epolic/eiaa006
- Drezner D.W. 1999. *The Sanctions Paradox: Economic Statecraft and International Relations*. 1st ed. Cambridge University Press.
- Drezner D.W. 2000. Bargaining, Enforcement, and Multilateral Sanctions: When Is Cooperation Counterproductive? *International Organization*. 54(1). P. 73–102. DOI: 10.1162/002081800551127
- Drezner D.W. 2003. How Smart are Smart Sanctions? *International Studies Review*. 5(1). P. 107–110. DOI: 10.1111/1521-9488.501014
- Drezner D.W. 2011. Sanctions Sometimes Smart: Targeted Sanctions in Theory and Practice. *International Studies Review*. 13(1). C. 96-108. DOI: 10.1111/j.1468-2486.2010.01001.x
- Drury A.C. 1998. Revisiting Economic Sanctions Reconsidered. *Journal of Peace Research*. 35(4). P. 497–509.
- Early B.R. 2011. Unmasking the Black Knights: Sanctions Busters and Their Effects on the Success of Economic Sanctions I: Unmasking the Black Knights. *Foreign Policy Analysis*. 7(4). P. 381–402. DOI: 10.1111/j.1743-8594.2011.00143.x
- Economic Sanctions and American Diplomacy*. 1998. Ed. Haass R., Council on Foreign Relations. New York: Council on Foreign Relations. 222 p.
- Economic Sanctions Reconsidered*. 2007. 3rd ed., Expanded ed. Hufbauer G.C. Washington, DC: Peterson Institute for International Economics. 233 p.
- Galtung J. 1967. On the Effects of International Economic Sanctions, With Examples from the Case of Rhodesia. *World Politics*. 19(3). P. 378–416.
- Gilpin R. 1988. The Theory of Hegemonic War. *Journal of Interdisciplinary History*. 18(4). P. 591–613.
- Giumelli F. 2016. *The Success of Sanctions: Lessons Learned from the EU Experience*. 1st ed. Routledge.
- Giumelli F., Ivan P. 2013. The Effectiveness of EU Sanctions. *EPC Issue Paper*. №76. P. 1–43.
- Haass R.N. 1997. Sanctioning Madness. *Foreign Affairs*. 76(6). P. 74.

Kaempfer W.H., Lowenberg A.D. 1988. The Theory of International Economic Sanctions: A Public Choice Approach. *The American Economic Review*. 78(4). P. 786–793.

Kaempfer W.H., Lowenberg A.D. 2002. Unilateral Versus Multilateral International Sanctions: A Public Choice Perspective. *International Studies Quarterly*. 43(1). P. 37–58.

Lacy D., Niou E.M.S. 2004. A Theory of Economic Sanctions and Issue Linkage: The Roles of Preferences, Information, and Threats. *The Journal of Politics*. 66(1). P. 25–42. DOI: 10.1046/j.1468-2508.2004.00140.x

Lopez G. A., Cortright D. 2004. Containing Iraq: Sanctions Worked. *Foreign Affairs*. P. 90–103. DOI: 10.2307/20034049

Mayall J. 1984. The Sanctions Problem in International Economic Relations: Reflections in the Light of Recent Experience. *International Affairs*. 60(4). P. 631–642.

Miers A., Morgan T. 2002. Multilateral Sanctions and Foreign Policy Success: Can Too Many Cooks Spoil the Broth? *International Interactions*. 28(2). P. 117–136. DOI: 10.1080/03050620212099

Park J.S. 2014. The Key to the North Korean Targeted Sanctions Puzzle. *The Washington Quarterly*. 37(3). P. 199–214. DOI: 10.1080/0163660X.2014.978444

Taskinsoy J. 2020. Diminishing American Power: The US – China Trade War, Sanctions, and Coronavirus. *SSRN Journal*.

Timofeev I.N. 2019. Rethinking Sanctions Efficiency. *Russia in Global Affairs*. 17(3). P. 86–108. DOI: 10.31278/1810-6374-2019-17-3-86-108

Morgan T.C., Bapat N., Kobayashi Y. 2014. Threat and Imposition of Economic Sanctions 1945–2005: Updating the TIES Dataset. *Conflict Management and Peace Science*. 31(5). P. 541–558. DOI: 10.1177/0738894213520379

Morgan T.C., Bapat N., Krustev V. 2009. The Threat and Imposition of Economic Sanctions, 1971–2000. *Conflict Management and Peace Science*. 26(1). P. 92–110. DOI: 10.1177/0738894208097668

Nooruddin I. 2002. Modeling Selection Bias in Studies of Sanctions Efficacy. *International Interactions*. 28(1). P. 59–75. DOI: 10.1080/03050620210394

Pape R.A. 1997. Why Economic Sanctions Do Not Work. *International Security*. 22(2). P. 90–136.

Pape R.A. 1998. Why Economic Sanctions Still Do Not Work. *International Security*. 23(1). P. 66–77.

Portela C., Orbie J. 2014. Sanctions under the EU Generalised System of Preferences and Foreign Policy: Coherence by Accident? *Contemporary Politics*. 20(1). P. 63–76. DOI: 10.1080/13569775.2014.881605

Vines A. 2012. The Effectiveness of UN and EU Sanctions: Lessons for the Twenty-First Century. *International Affairs*. 88(4). P. 867–877. DOI: 10.1111/j.1468-2346.2012.01106.x

Whang T. 2011. Playing to the Home Crowd? Symbolic Use of Economic Sanctions in the United States: Playing to the Home Crowd? *International Studies Quarterly*. 55(3). P. 787–801. DOI: 10.1111/j.1468-2478.2011.00668.x

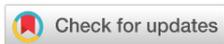
Alekseeva T.A. 2016. *Sovremennaja politicheskaja mysl' (XX-XXI vv.): politicheskaja teorija i mezhdunarodnye otnoshenija: uchebnoe posobie* [Modern Political Thought (20-21 centuries): Political Theory and International Relations]. Moscow: Aspekt Press. 621 p. (In Russian)

Timofeev I.N. 2018. Economicheskie sanktsii kak politicheskoe ponyatie [Economic Sanctions as a Concept of Power Politics]. *MGIMO Review of International Relations*. 2(59). P. 26–42. DOI: 10.24833/2071-8160-2018-2-59-26-42 (In Russian)

Список литературы на русском языке:

Алексеева Т.А. 2015. *Современная политическая мысль (XX-XXI вв.): политическая теория и международные отношения*. Москва: Аспект Пресс.

Тимофеев И.Н. 2018. Экономические санкции как политическое понятие. *Вестник МГИМО-Университета*. 2(59). С. 26-42. DOI: 10.24833/2071-8160-2018-2-59-26-42



Инновация как фактор развития Израиля

В.А. Мельянцеv

Московский государственный институт им. М. В. Ломоносова

Рецензия на книгу: Марьясис Д.А. 2020. *Инновационная экономика как основа участия Израиля в современной системе международных экономических отношений*. Москва: ИВ РАН. 428 с.

Ключевые слова: инновационная экономика, Израиль, роль внешнего фактора, международные экономические отношения, роль государства, транснациональные корпорации, социально-культурные особенности, стартап-компании.

Израиль, несмотря на весьма существенные геополитические сложности своего развития¹ и почти полное отсутствие (до последнего времени) сколько-нибудь значимых полезных ископаемых², – это, тем не менее, одна из наиболее успешных стран мира, населённая умными и предприимчивыми людьми. В 2015–2019 гг. по уровню квалификации рабочей силы Израиль входил в высший квинтиль группы развитых государств (РГ). Отставая в 2019 г. по подушевому ВВП³ (в ППС 2017 г.) от последних в среднем на 1/10, он в целом примерно на столько же превосходил их по среднему числу (13 vs. 12,2) лет обучения взрослого населения⁴. По расчётам и оценкам Всемирного

¹ По имеющимся данным, в последние два десятилетия *показатель политической стабильности (и отсутствия насилия/терроризма)* в Израиле был более чем в шесть (!) раз ниже, чем в среднем по группе развитых государств (РГ). Рассчитано по: The World Bank. World Governance Indicators. URL: <http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports> (accessed 17.08.2021).

² В Израиле, как известно, существует дефицит пресной воды и лишь в 2000-х гг. обнаружено на шельфе месторождение природного газа. Пятый премьер-министр Израиля Голда Меир высказала следующую остроумную мысль: «...Моисей водил нас по пустыне 40 лет, чтобы привести к единственному месту на Ближнем Востоке, где нет никакой нефти». URL: <https://ru.citay.net/tsitay/449758-golda-meir-moisei-vodil-nas-po-pustyne-40-let-chtoby-privesti/> (дата обращения 17.08.2021)

³ ВВП – валовой национальный продукт. Равен ВВП плюс сальдо трансфертов с границей по доходам факторов (труда и капитала).

⁴ Выше, чем у Израиля, значения этого показателя (от 13,2 до 14,2 лет) были только у Великобритании, Швейцарии, США, Канады и Германии. См.: Human Development Report 2020. 2020. *The UNDP*. New York. P. 343, 346, 389.

УДК: 338.242.42

Поступила в редакцию: 15.05.2021 г.

Принята к публикации: 25.07.2021 г.

экономического форума, Израиль в 2019 г. занял 1-е место в мире по уровню предпринимательской культуры⁵.

Хотя за годы своего существования (в наших расчётах 1950-2020 гг.) среднегодовой темп прироста (СГТП) численности его населения был более чем на 2/5 выше, чем в среднем по планете (2,7% vs. 1,9%), СГТП подушевого ВВП (ПВВП; в ППС 2017 г.) Израиля (2,8%) на треть превысил среднемировой показатель (2,1%). В результате, если в целом по миру ПВВП за 70 лет увеличился вчетверо, в РФ – немногим более чем в пять раз, то в Израиле – в семь раз⁶.

Несмотря на то, что в конце 2010-х гг. по уровню ПВВП Израиль находился в конце пятого десятка стран мира, по глобальному индексу инноваций – на 12-13-м месте. Согласно несложному подсчёту по формуле на рис. 1, получается, что Израиль входит в семёрку высокоразвитых стран мира, у которых уровень инновационного развития заметно (на 10–15%) выше его значения, сгенерированного исходя из показателя ПВВП.

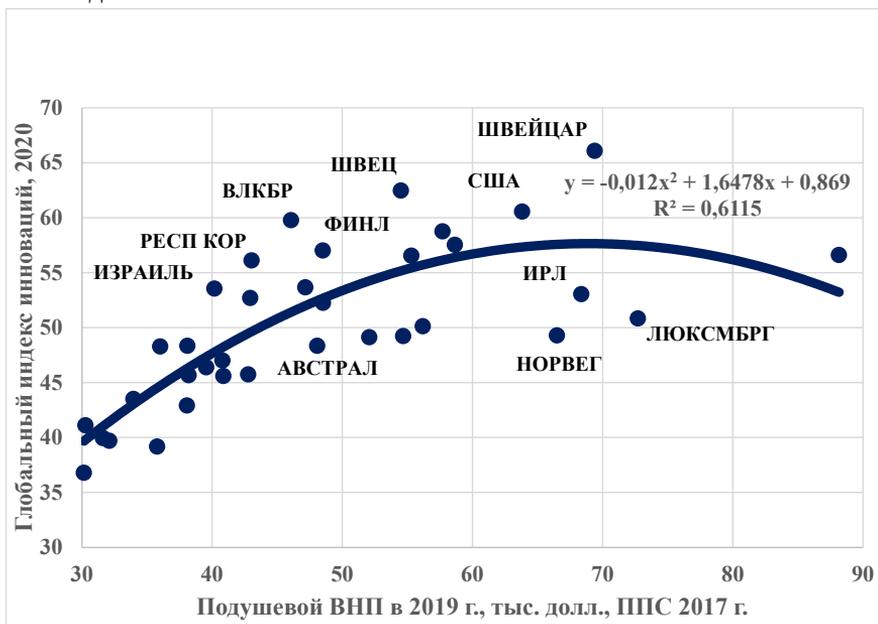


Рисунок. 1. Развитые государства: взаимосвязь Глобального индекса инноваций⁷ и подушевого ВВП, 2019/2020 гг.

Figure 1. Developed countries: relationship between the Global Innovation Index and per capita GNP, 2019/2020

Составлено и рассчитано по: Global Innovation Index 2020. 2020. Cornell University, INSEAD, WIPO. Geneva. P. XXXII; Human Development Report 2019. 2019. The UNDP. New York. P. 343.

⁵ См.: Global Competitiveness Report 2019. 2019. *The World Economic Forum*. Geneva. P. 297.

⁶ Рассчитано по: (Maddison 2003: 166, 186, 232, 234); World Data Bank (<http://databank.worldbank.org/>); IMF Data (<http://www.imf.org/external/data.htm>); OECD. Stat Extracts (<http://stats.oecd.org/>) (accessed 17.08.2021).

⁷ Глобальный индекс инноваций – композитный показатель оценки инновационного потенциала стран мира, разработанный Всемирной организацией интеллектуальной собственности, Корнельским университетом и INSEAD на основе примерно 80 субиндексов. Измеряется в баллах от 0 до 100 (высшее значение).

Опыт развития Израиля, в решающей мере основанный на инновационном факторе, многосторонне проанализированный в недавно вышедшей в РФ монографии Д.А. Марьясиса⁸, вызывает заслуженный интерес у очень многих.

Монография, состоящая, помимо введения, заключения, приложения, обширного списка источников и литературы (на 29 (!) страницах), из двух теоретических разделов (первая и четвёртая главы), центральной – второй главы, в которой даётся детальная экспозиция механизма инновационного развития Израиля, и третьей главы, в которой анализируется развитие сотрудничества Израиля и России в сфере инноваций и оцениваются возможности трансфера израильского опыта инноваций в РФ, – это солидное и весьма фундированное исследование. Предметно раскрывая важнейшие составляющие и драйверы в целом эффективно работающей израильской системы инноваций, оценивая её достоинства и ряд имеющихся недостатков, автор, продолжая серию своих профильных работ, написал и опубликовал актуальную и нужную книгу.

Для нас, россиян, она особенно полезна. После того, как даже ряд ведущих ближневосточных стран-нефтеэкспортёров приступили к модернизации, основанной на инновациях (в том числе ОАЭ, Королевство Саудовская Аравия и др. (Федорченко 2021; Мельянцев 2020)), представляется, что пора бы уже и нам, учитывая опыт немалой части наших бывших соотечественников, в том числе ныне проживающих в Израиле, всерьёз озаботиться созданием дееспособного механизма инновационного развития. Тем более что у нас есть для этого ряд весомых предпосылок, включая, что бы там ни говорили, сравнительно высокое качество российских исследователей, работающих как в РФ, так и в странах Запада, Востока и Юга.

В современных условиях инновации, компетентное управление и адекватные социальные институты (Друкер 2007; Иванова 2020; Аджемоглу, Робинсон 2021) – это ключевые факторы эффективности экономики, международной конкурентоспособности и безопасности страны, подъёма/поддержания благосостояния её населения.

По прочтении монографии Д. А. Марьясиса складывается впечатление, что Израиль – общество, во многом «заточенное» на инновациях. Опираясь на богатые материалы этой книги, попытаемся, обобщая и уточняя ряд содержащихся в ней тезисов, выяснить, в чём состоит инновационный феномен Израиля и его важнейшие детерминанты.

Отчётливо осознавая критически высокий уровень экзистенциальной опасности, находясь почти в полном окружении, мягко сказать, далеко не друже-

⁸ «Инновационная экономика как основа участия Израиля в современной системе международных экономических отношений». 2020. Отв. ред. А. В. Федорченко. Москва: ИВ РАН. 428 с. Марьясис Дмитрий Александрович – выпускник Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат экономических наук, руководитель Отдела изучения Израиля и Еврейских общин Института востоковедения РАН, автор трёх монографий и более восьмидесяти научных статей по проблемам экономического развития Израиля и стран Ближнего Востока.

ственных соседей, и не имея существенных доходов от эксплуатации природных ресурсов, руководство Израиля вскоре после его образования, опираясь на высокое качество имеющегося и активно прибывающего в страну человеческого капитала, поставило сверхзадачу встроиться в международное разделение труда на основе формирования конкурентных преимуществ самого высокого порядка.

В рассматриваемой монографии⁹ весьма детально описан институциональный механизм создания и функционирования инновационного комплекса Израиля, состоящего из таких акторов как государство, ВПК, университеты и деловой сектор (см. гл. 2 монографии). Используя внутренние финансовые ресурсы и привлекая в немалой мере иностранный капитал (в том числе прямые иностранные инвестиции, страна сумела выйти на лидирующие позиции в мире по доле расходов на НИОКР (~5% ВВП). Она почти вдвое больше, чем в среднем по странам ОЭСР (2,5–2,6% ВВП), а прирост подушевых расходов на НИОКР в Израиле в 2000–2010-е гг. оказался больше в пять раз, чем в среднем по миру, и в 2,2 раза, чем в целом по странам ОЭСР¹⁰. На этой основе в Израиле в последние два-три десятилетия происходило быстрое накопление капитала в сфере новых, прежде всего информационно-коммуникационных, технологий (стр. 90–91).

По количеству заявок на изобретения в расчёте на душу населения Израиль в конце 2010-х гг. вошёл в высшую пятёрку стран мира (стр. 103). У Израиля в 2000–2010-е гг. наблюдались не только высокая и растущая доля высоких и средневысоких технологий в промышленном экспорте, но и быстрорастущий и один из самых высоких в мире показателей доли позитивного технологического баланса платежей в ВВП (стр. 104–105).

Израиль, широко известный в мире своими достижениями в ИКТ, в том числе в сфере программного обеспечения и кибербезопасности, а также в фармакологии и биотехнологиях, превратился в один из крупнейших в мире инновационных хабов для иностранных ТНК. Во многом благодаря осуществлению программы *Yozma*, внёсшей огромный вклад в финансирование малых инвестиционных компаний, Израиль к настоящему времени стал одним из лидеров мира по объёму венчурного инвестирования в расчёте на душу населения (стр. 97).

Чистый прирост стартапов в секторе высоких технологий Израиля в 2010-е гг. по сравнению с 2000-ми вырос не менее чем в шесть раз (стр.191). По количеству компаний, котирующихся на высокотехнологичном рынке США NASDAQ, Израиль по состоянию на конец 2019 г. уступал лишь США (стр. 195).

Среди трёх важнейших детерминантов израильского инновационного успеха можно выделить, прежде всего, *активную и в целом, что не менее важно, по-*

⁹ Далее в скобках ссылки на страницы текста монографии.

¹⁰ Рассчитано по: Data.Bank. URL: <https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=world-development-indicators> (accessed 17.08.2021).

зитивную роль государства. Оно более чем на 3/5 финансирует академические институты, которые заметно выделяются в мире по степени своей взаимосвязи в сфере инноваций с деловым сектором (стр. 173–175). Ведомство главного учёного (ВГУ) координирует инновационную деятельность, а Управление инноваций Израиля (УИИ) проводит активную политику по выдаче грантов на НИОКР израильским компаниям (стр. 35, 123, 235) и способствовало созданию примерно двух десятков инкубаторов, через которые прошло огромное количество стартапов (стр. 124). Огромную роль в формировании эффективных малых технологичных команд, чем славится Израиль, играет служба в ЦАХАЛ, а также их взаимодействие со структурами ВПК страны (стр. 18, 183–187).

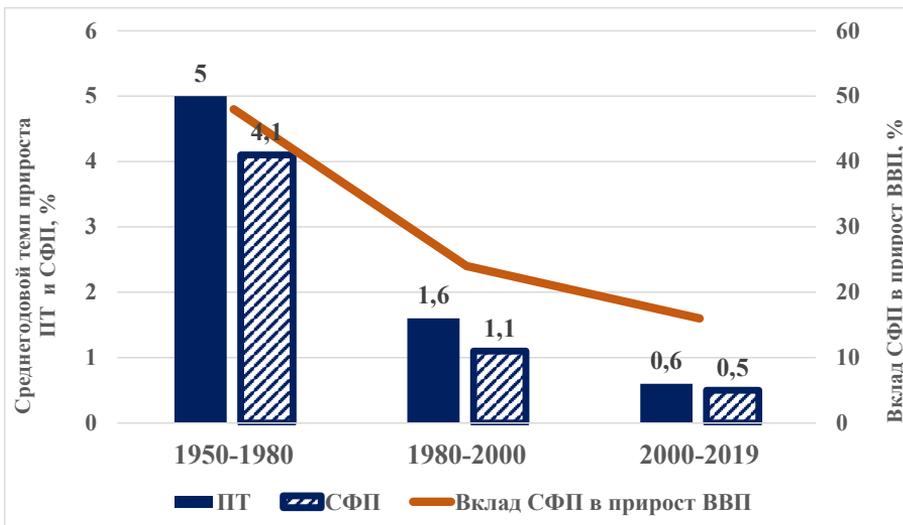


Рисунок 2. Израиль, 1950–2019 гг.: среднегодовые темпы прироста производительности труда (ПТ), совокупной факторной производительности¹¹ (СФП) и вклад СФП в прирост ВВП, %.

Figure 2. Israel, 1950–2019: average annual growth rates of labor productivity (TF), total factor productivity¹ (TFP) and TFP contribution to GDP growth, %

Рисунки 2 и 3 рассчитаны по: The World Bank. Data Bank (<http://databank.worldbank.org/>); IMF Data (<http://www.imf.org/external/data.htm>); OECD Stat (<http://stats.oecd.org/>) (Accessed 17.08.2021); Penn World Table Version 10.0. URL: <https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/?lang=en> (accessed 17.08.2021).

Особо стоит выделить роль внешнего фактора. В 2010-е гг. число иностранных ТНК в Израиле выросло на 2/3 до 362 (стр. 361). Согласно приведённым в книге данным, на долю иностранных инвесторов приходится свыше 2/3 всех

¹¹ СГТП СФП получен вычетом из СГТП ВВП средневзвешенного показателя динамики затрат труда (здесь – занятости) и основного капитала. Эластичности роста ВВП по труду и капиталу оказались равными соответственно в 1950–1980 и 1981–2000 гг. 0,58 и 0,42; в 2001–2019 гг. 0,57 и 0,43.

средств, поступающих в сектор высоких технологий страны (стр. 92), а заявки из-за рубежа составляют свыше 4/5 всех патентов, поданных в Израиле (стр. 102, 356). В 2000-2010-е гг. иностранные ТНК, в том числе Intel, Cisco, HP, IBM, Microsoft, Google, активно скупали израильские стартапы, прежде всего, в сфере ИКТ и программного обеспечения (стр. 207, 211).

Автор сжато, но метко описывает *систему, возможно, в чём-то уникальных исторических, социально-культурных и институциональных факторов*, способствовавших нередко в обстановке весьма жёстких испытаний формированию в целом удивительно *жизнеспособного, предприимчивого характера* евреев (Даймонт 2019), что, как представляется, в решающей мере предопределило их успех в сфере инноваций как в прошлом, так и в настоящее время (стр. 279-295).

В то же время в экономике Израиля, несмотря на значительное повышение уровня её инновационности, можно обнаружить заметный *тренд не только к снижению СГТП прироста производительности труда (ПТ) и совокупной факторной производительности (СФП)*, что происходит и в целом по группе экономически продвинутых стран (Мельянецв 2017; Мельянецв 2019), но и существенному *уменьшению вклада СФП в прирост ВВП* – примерно с 1/2 в 1950-1980 гг. до 1/4 в 1980-2000 гг. и менее 1/5 в 2000-2019 гг. (см. рис. 2 и 3).

При этом подчеркнём, что в таких инновационных экономиках, как Республика Корея (РК), Тайвань и Сингапур¹², в 2000-2019 гг. СГТП СФП¹³ (1,8-2,2%) был примерно втрое выше, чем в Израиле (0,7%), а вклад СФП в прирост их ВВП (в среднем ~ 1/2)¹⁴ – в 2,3 раза больше, чем в последнем (21-23%).

Отставание Израиля от РК, Тайваня и Сингапура по СГТП ПВВП в 2000–2019 гг. в среднем ~ в 2,6 раза (1,3% vs. 3,4%) было, по нашим подсчётам, обусловлено меньшим в Израиле (чему них в среднем) вкладом в рост ПВВП капиталовооружённости труда и СФП соответственно на 2/5 и 3/5¹⁵.

За последние четыре десятилетия произошло и существенное *снижение уровня почасовой производительности* в Израиле в среднем по отношению к группе стран, входящих в ОЭСР (стр. 245; граф. 3), поскольку в последних по

¹² Нижеприведённые расчёты и сравнения имеют особый смысл в свете того значения, которое будущий премьер-министр Израиля Нафтали Беннет придаёт модели Сингапура – одной из наиболее богатых и быстроразвивающихся новых индустриальных стран. См.: Чего ждать израильтянам от Нафтали Беннета. *Ведомости*. 08.06.2021. URL: <https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2021/06/08/873299-izrailtyanam-benneta> (дата обращения 17.08.2021).

¹³ При расчёте СФП вклад трудозатрат (поскольку имелись в наличии сопоставимые данные) исчислен по динамике отработанных человеко-часов.

¹⁴ По РК, Тайваню и Сингапуру – соответственно ~ 1/2, 3/5 и 2/5. В четвёртом «азиатском тигре» из клуба новых индустриальных стран (НИС) – Гонконге (Сянгане), который в 1997 г. перешёл под юрисдикцию КНР, СГТП СФП сократился почти втрое – с 1,5-1,6% в 1980-2000 гг. до 0,5-0,6% в 2000-2019 гг., а её вклад в прирост ВВП оказался меньше 1/3.

¹⁵ Рассчитано по источникам к граф. 1 по следующей формуле $(y-p) = (h-p) + (1-\alpha)*(k-h) + r$, где y ; p ; h ; k ; r – соответственно среднегодовые темпы прироста ВВП, численности населения, отработанного времени, основного капитала и СФП; $(1-\alpha)$ – эластичность выпуска ВВП по капиталу (в 2000-2019 гг. в Израиле в среднем 0,43; в РК 0,48; по Тайваню 0,3; Сингапуру 0,55). Рост ПВВП определяется вкладами трёх компонент – (а) относительной интенсивности трудозатрат общества, (б) капиталовооружённости труда; (в) СФП. Вклад первой компоненты в наших расчётах оказался минимальным.

сравнению с Израилем СГТП ВВП в расчёте на отработанный час был выше в 1980–2000 и 2000–2019 гг. (2,0% vs. 1,4% и 1,2% vs. 1,0%) соответственно на 0,6 и на 0,2 проц. пункта.

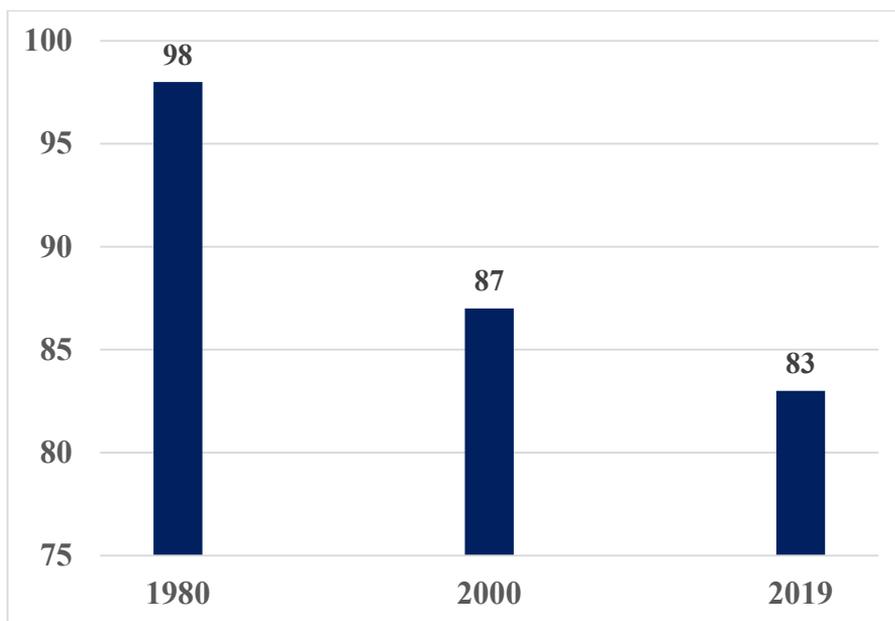


Рисунок 3. Израиль, 1980–2019 гг.: динамика ВВП (в ППС 2017 г.) в расчёте на отработанный час, в % от уровня ОЭСР.

Picture 3. Israel, 1980–2019: GDP dynamics (in 2017 PPP) per hour worked, % of OECD level.

Чем же можно объяснить парадокс замедленного роста производительности в инновационно развивающейся экономике?

К числу наиболее важных факторов, сдерживающих инновационное развитие и рост производительности в Израиле, следует, как отмечает автор, отнести:

(а) существенный разрыв в уровне технологической оснащённости, качестве рабочей силы и эффективности менеджмента между ультрасовременным сегментом экономики и остальной её частью (стр. 239, 245)¹⁶;

(б) возникший после исчерпания эффекта от волны эмигрантов из стран бывшего СССР (стр. 261) дефицит в высококвалифицированных кадрах, усугублённый их значительным чистым оттоком в США и ряд других стран Запада (стр. 262–269);

¹⁶ Современный Израиль – весьма гетерогенное общество, которое сильно выиграло бы, если бы удалось в большей мере включить в сферу высокотехнологического производства немалую часть еврейского и арабского мужского населения, разделяющих (полу)традиционные ценности, а также женщин, которым автор посвятил одно из приложений (стр. 378–388).

(в) чрезмерную зависимость от иностранных ТНК, скупающих эффективные стартапы (стр. 239–254), что, естественно, тормозит формирование собственных крупных инновационных корпораций (их, кроме давно созданных компаний, таких как TEVA, CheckPoint, RADGroup, сравнительно мало);

(г) необходимость расходовать на оборону и обеспечение безопасности страны как минимум 7–8% ВВП, что, мягко говоря, оказывает амбивалентное воздействие на развитие страны.

И всё же, несмотря на ряд возникших трудностей и проблем, более чем 70-летняя история развития современного Израиля – это в целом успешный опыт формирования весьма конкурентоспособной по мировым меркам страны – инкубатора инноваций, производимых многими десятками энергичных и предприимчивых рыночно-ориентированных технологических команд (стр. 231, 337–345).

Что касается, на мой взгляд, недоработок автора, то их, как представляется, можно было бы устранить при расширенном переиздании монографии. И для этого целесообразно было бы:

(а) из основной, весьма насыщенной второй главы часть материалов, имеющих в известном смысле справочный характер, переместить в приложение;

(б) при анализе возможности применения израильского опыта развития инноваций в России и расширения российско-израильского сотрудничества в этой сфере (гл. 3), который произведён, подчеркну, на хорошем уровне, всё же более основательно исследовать причины торможения инновационного процесса в России, поскольку контраст с израильским феноменом позволяет их лучше выявить;

(в) сделать более рельефными (учитывая уровень знаний читателя) промежуточные и итоговые выводы об *относительной значимости* важнейших слагаемых израильского инновационного успеха в теоретических первой и четвёртой главах книги и её заключении;

(г) завершить начатую в четвёртой главе достаточно продуктивную, на мой взгляд, разработку *авторского интегрального критерия инновационности отраслей экономики* (стр. 327–336), например, путём расчёта системы весов (на альтернативной основе) к предложенным 12 субидексам/факторам.

В целом же, полагаю, что, задумываясь о том, каковы в наше время общие причины и конкретные механизмы/факторы успешного развития, а также о том, что и как делать России, чтобы не только не отставать, но, напротив, успешно догонять, а затем и перегонять в международной конкурентоспособности всё большее число стран мира, полезно внимательно прочитать, на мой взгляд, весьма интересную книгу Д.А. Марьясиса и поразмышлять, возможно, в чём-то споря с автором, над рядом представленных в ней трендов, индикаторов, факторов, причин и факторов инновационного развития Израиля.

Об авторе:

Виталий Альбертович Мельянцев – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой международных экономических отношений стран Азии и Африки ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова. ORCID: 0000-0002-9139-2753; vamel@iaas.msu.ru

Конфликт интересов:

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов

UDC: 338.242.42
Received: May 15, 2021
Accepted for publication: June 25, 2021

An Innovative Factor in The Development of Israel

V.A. Melyantsev
[DOI 10.24833/2071-8160-2021-4-79-154-163](https://doi.org/10.24833/2071-8160-2021-4-79-154-163)

Moscow State University

Book review: D.A. Maryasis. 2020. *Innovative Economy as the Basis for Israel's Participation in the Modern System of International Economic Relations*. Moscow: IV RAN. 428 p.

Keywords: innovations-based economy, Israel, the role of an external factor, international economic relations, the role of the state, transnational corporations, socio-cultural characteristics, startup companies.

About the author:

Vitaly A. Melyantsev – Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of International Economic Relations of Asian and African Countries, ISAA, Moscow State University. M.V. Lomonosov. E-mail: vamel@iaas.msu.ru

Conflict of interests:

The author declares absence of conflict of interests.

References:

Maddison A. 2003. *The World Economy: Historical Statistics*. Paris: OECD. 274 p.

Adzhemoglu D., Robinson Dzh. 2021. *Uzkij koridor: gosudarstva, obshchestvaisud'basvobody* [A Narrow Corridor: States, Societies and the Fate of Freedom]. Moscow: Publishing house AST. 704 p. (In Russian)

Dajmont M. 2019. *Evrei, Bog i istoriya* [Jews, God and History]. Moscow: Mosti Kulturi Publishing House. 570 p. (In Russian)

- Druker P. 2007. *Эпоха разрыва* [The Era of Rupture]. Moscow: Williams. 336 p. (In Russian)
- Fedorchenko A.V. 2021. Reformirovanie saudovskoj ekonomiki: itogi i perspektivy [Reforming the Saudi Economy: Results and Prospects]. *World Economy and International Relations*. 65(4). P. 93-103. DOI: 10.20542/0131-2227-2021-65-4-92-102 (In Russian)
- Innovacionnaya konkurenciya* [Innovative Competition]. 2020. Moscow: Ves mir. 216 p. (In Russian)
- Mel'yancev V.A. 2019. KNR i SSHA, kto kogo: sravnenie osnovnyh parametrov ekonomicheskogo razvitiya [China and the USA, Who Will Win: Comparison of the Main Parameters of Economic Development]. *Asia and Africa Today*. №8. P. 5-14. DOI: 10.31857/S032150750005767-5. (In Russian)
- Mel'yancev V.A. 2017. Umnye tekhnologii, paradoks Solou i protivorechiya social'no-ekonomicheskogo razvitiya v stranah Zapada i Vostoka v nachale XXI veka [Smart Technologies, the Solow Paradox and the Contradictions of Socio-Economic Development in the Countries of the West and the East at the Beginning of the 21 Century]. *Vostok. Afro-Asian Societies: Past and Present*. №3. P. 162-180. (In Russian)
- Mel'yancev V.A. 2020. Dolgosrochnye trendy social'no-ekonomicheskogo razvitiya arab-skih stran [Long-term Trends in the Socio-Economic Development of the Arab Countries]. *MGIMO Review of International Relations*. 13(5). P. 194-219. DOI: 10.24833 / 2071-8160-2020-5-74-194-219. (In Russian)

Список литературы на русском языке:

- Аджемоглу Д., Робинсон Дж. 2021. *Узкий коридор: государства, общества и судьба свободы*. Москва: Издательство АСТ. 704 с.
- Даймонт М. 2019. *Евреи, Бог и история*. Москва: Мосты культуры. 570 с.
- Друкер П. 2007. *Эпоха разрыва*. Москва: Вильямс. 336 с.
- Инновационная конкуренция*. 2020. Отв. ред. Н. И. Иванова. Москва: Весь мир. 216 с.
- Мельянецв В.А. 2020. Долгосрочные тренды социально-экономического развития арабских стран. *Вестник МГИМО-Университета*. 13(5). С. 194–219. DOI: 10.24833/2071-8160-2020-5-74-194-219.
- Мельянецв В.А. 2019. КНР и США, кто кого: сравнение основных параметров экономического развития. *Азия и Африка сегодня*. №8. С. 5–14. DOI: 10.31857/S032150750005767-5
- Мельянецв В.А. 2017. Умные технологии, парадокс Солоу и противоречия социально-экономического развития в странах Запада и Востока в начале XXI века. *Восток. Афрo-азиатские общества: история и современность*. №3. С. 162–180
- Федорченко А.В. 2021. Реформирование саудовской экономики: итоги и перспективы. *Мировая экономика и международные отношения*. 65(4). С. 93-103. DOI: 10.20542/0131-2227-2021-65-4-92-102



В поисках прогрессивного национализма

А.И. Самородов

Университет Мачераты, Италия

Рецензия на книгу: Cörüt I., Jongerden J. (ed.). 2021. *Beyond Nationalism and the Nation-State: Radical Approaches to Nation*. Routledge. 226 p. ISBN 9780367684020

Ключевые слова: нация, радикальные подходы, прогрессивизм, мультикультурализм, национальное строительство, социальная борьба.

Монография написана на фоне наблюдаемого в настоящее время роста авторитарно-националистических движений во всём мире. Усиление политических партий этнического и националистического толка в ряде стран привело к тому, что они стали определять политический мейнстрим, антииммиграционный, антидемократический и исламофобский дискурсы.

Многие учёные рассматривали национализм как явление XIX в., породившее две мировые войны в прошлом столетии, и были уверены, что оно не доживёт до второго тысячелетия (Appadurai 1996). Однако авторы рецензируемой монографии утверждают, что национализм сохраняет свою актуальность и сегодня. Китай Си Цзиньпина, Россия В. Путина, Индия Н. Моди, Турция Р. Эрдогана, Венгрия В. Орбана и Польша Л. Качиньского – примеры возрождения национализма под руководством сильных лидеров. Ведущие государства-члены Европейского союза, включая Германию, Францию, Австрию и Нидерланды, стали свидетелями резкого роста популярности этно-националистических партий. Недавняя вспышка вооружённого насилия между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха подтверждает стойкость националистических форм притязаний на территорию и культуру.

Авторы монографии разделяют понятия «нация» и «национализм». Последнее рассматривается как специфическая форма национальной политики. Авторский подход позволяет разглядеть и прояснить характеристики ненационалистических форм национальной политики. С этой целью в книге определяются

УДК: 327.2

Поступила в редакцию: 11.05.2021 г.

Принята к публикации: 10.07.2021 г.

условия, при которых национальная политика может приобретать антигегемонистскую форму освободительных движений.

Главы книги анализируют идеи мыслителей и практику национальных движений из разных регионов мира: Африки, Азии, Европы и Латинской Америки. Их рассуждения приводят к выводу, что различия между националистической и ненационалистической интерпретациями права наций на самоопределение зависят от формы национального самоопределения и, в частности, позиции по отношению к государству, однородности или неоднородности национальной идентичности, а также классовых различий.

Форма национального самоопределения характеризуется, прежде всего, отношением к государству: в националистическом понимании право на самоопределение ограничивается правом наций создавать свои собственные национальные государства. Таким образом, по своей сути нация генетически связана с государством и наоборот. Однако, как ясно показывают авторы, постулировать неразрывную связь нации с государством можно только, если игнорировать многочисленные кейсы, когда нация и национальный суверенитет находились в открытом конфликте с самим государством, с его олигархической формой и представительными механизмами.

Национализм воплощает саму нацию через историю, культуру и расу. Так, феномен «Брекзит» может быть объяснён через происходившее слияние нации, расы и идентичности. В результате слияния нация созревает до готовности к тому, чтобы её представляли государственные элиты, образованные средние классы и группы буржуазии, выступающие и действующие от имени страны, отстаивающие национальные интересы, культуру и честь. Когда нация не стремится к представительству и воплощает, как отмечается, «чистое политическое утверждение», не представляющее ничего вне себя, тогда снижаются возможности для определения перспектив национального развития, стираются горизонты национального самосознания. Чем больше ненационалистические формы национальных движений и теорий демистифицируют национальное самоопределение и превращают его в «мирское явление», тем более очевидной становится необходимость рассмотрения расовых, гендерных и этнических аспектов «нации». Исследования ненационалистических национальных движений и теорий требуют продуманного подхода, чтобы учесть многомерность нации и оценить способы, которыми элементы этой многомерности могут пересекаться, образуя сложную реальность самой нации.

Можно утверждать, что рецензируемая работа опирается на междисциплинарный анализ, в рамках которого особое внимание уделяется тому, как нация соотносится с этничностью, культурой и гендером, а также их взаимовлиянием.

Многие учёные уже работали с понятиями «нация» и «национализм», понимая нацию в конструктивистском ключе как «воображаемое сообщество» (Anderson 1991). Другие же делали акцент на различии между «гражданским» и «этническим» национализмом (Brubaker 1992) или же «западным» и «восточ-

ным» (Kohn 1945). Подход, предлагаемый авторами данной монографии, мотивирован критикой историко-политической обусловленности прошлых исследований.

Материалы, представленные в книге, сгруппированы по трём разделам. Первый раздел «Коллективные действия, самоуправление и автономия» обосновывает ключевое значение коллективных действий, самоуправления и самостоятельности в прогрессивных и радикальных концепциях нации.

Первая глава написана Йостом Йонгерденом (Joost Jongerden) и Ченгизом Гюнесом (Cengiz Gunes) и посвящена кейсу Рабочей партии Курдистана (РПК). Основное внимание здесь уделяется идейно-политической трансформации партии, возглавляющей одно из самых радикальных национально-освободительных движений последнего времени. Если первоначально РПК придерживалась типичного «государственного» подхода к национальному освобождению и стремилась к созданию социалистического национального государства как идеальной формы самоопределения, то впоследствии она существенно пересмотрела данную парадигму, дабы отделить идею национального освобождения от государства, следуя теоретическим представлениям, разработанным Абдуллой Оджаланом, основателем и лидером РПК, во время его тюремного заключения. Йонгерден и Гюнес представляют не только подробное описание исторических предпосылок и этапов этой трансформации, но и анализ сопутствующих концепций. Авторы подчёркивают конфликт, который А. Оджалан обнаружил между «демократической современностью» и «капиталистической современностью». Наиболее важным аспектом идеи «демократической нации», по мнению Йонгердена и Гюнеса, является то, что эта концепция формулирует национальное самоопределение как «способность к самоорганизации и плюрализации идеи нации».

РПК изначально понимала самоопределение как право на отделение и образование независимого государства. После критики и самокритики в 1980-х и 1990-х гг. РПК под влиянием Абдуллы Оджалана начала трактовать его как способность людей к самоорганизации. Проведение различия между государственным управлением и автономной политикой (не государством, а способностью принимать коллективные решения и действовать в соответствии с этими решениями) стало центральным в данной идее самоопределения. В соответствии с таким подходом, нация стала определяться как политическое сообщество, продукт самоорганизации людей, разделяющих схожее мышление, как результат процесса субъективации. Поскольку люди могут быть членами нескольких политических сообществ, они также могут быть членами более чем одной нации. Нация больше не связана с националистическим изоляционизмом, что позволяет развивать разнообразные сообщества в рамках общего, многоуровневого территориального и политического пространства.

Вторая статья первого раздела посвящена обсуждению Илкером Керютом (İlker Cörüt) «Исторического тезиса» Хикмета Кывылджимлы (Hikmet

Kıvılcımlı), который «был единственным турецким марксистским мыслителем среди всех поколений турецких марксистов своей эпохи». Кывылджимлы переосмыслил исторический материализм, чтобы исследовать законы развития докапиталистических обществ. Согласно его «Исторической диссертации», основной динамикой исторических изменений в докапиталистический период была не классовая борьба внутри общества, а скорее мощные коллективные действия варваров-кочевников, которые воплощали эгалитарные и коллективистские ценности примитивного социалистического общества, противопоставленные разделённым на классы цивилизованным обществам.

Основные положения «Исторического тезиса» Кывылджимлы состоят в том, что существуют две производительные силы, определяющие изменение современной цивилизации, – это технология и коллективное действие; двигателем изменений на протяжении всей истории была борьба между примитивным социализмом и цивилизацией; цивилизация базируется, по крайней мере, на четырёх компонентах: (а) торговля, (б) деньги, (в) письменность и (г) государство.

Следующая часть работы посвящена Латинской Америке и, в частности, опыту Революционных вооружённых сил Колумбии – Армии народа (РВСК-АН). Хулиан Кортес Уркихо (Julián Cortés Urquijo) и Жерар Вершур (Gerard Verschoor) изучили деятельность бывших боевиков РВСК-АН в развивающихся аграрных общинах. Армия народа и другие партизанские движения в Колумбии находятся в состоянии войны с государством и военизированными организациями уже более 50 лет. Подписанное мирное соглашение между РВСК-АН и правительством Колумбии в 2016 г. должно было положить начало новой эре: РВСК-АН обязались осуществить демилитаризацию, а политические институты должны были быть реформированы. Этот процесс трансформации имел серьёзные последствия для РВСК-АН. Подписание мирных соглашений подразумевало, что Армия народа признала невозможность достижения заявленных целей путём затяжной партизанской войны. Однако, как утверждают авторы, это не означает, что 50-летняя борьба РВСК-АН была безуспешной.

В своей борьбе РВСК-АН стремились не только завоевать государство, но и взаимодействовать с автономными крестьянскими общинами и даже создавать их. После подписания мирных соглашений несколько боевиков, опираясь на свой опыт создания автономных сообществ, развили и создали сообщества на низовом уровне, в которых они проводят политику, отличную от государственной. Со времени начала мирного процесса на разных территориях было создано более 80 кооперативов, состоящих из бывших повстанцев и местных крестьян, что превращало бывших бойцов РВСК-АН в ключевых участников развития «экономики солидарности». Таким образом, политическую борьбу бывших повстанцев также можно рассматривать как борьбу за автономию, выдвигание альтернативы традиционным дискурсам развития и модернизации.

Второй раздел тома, «Нация, пуэбло, народ», посвящён выявлению отличительных особенностей «нации» в представлении и практиках радикальных

ненационалистических национальных движений в разных регионах и исторические периоды.

Первую главу раздела, написанную Дарио Азеллини (Dario Azzellini) и посвящённую ещё одному латиноамериканскому кейсу, можно рассматривать как продолжение дискуссии о коллективных действиях, самоуправлении и автономии. Азеллини рассматривает социальные преобразования, произошедшие в Венесуэле во время президентства Уго Чавеса (1999–2013). Хотя «революционный боливарианизм», ставший доминирующей идеологией радикального преобразования общества в стране, может показаться националистическим, Азеллини утверждает: исторические корни боливарианизма указывают на то, что он не представляет собой ни эксклюзивный гомогенизационный национально-государственный национализм, ни инструмент поддержания межклассового национального единства.

В то время как критики изображали Чавеса националистом, а сочувствующие относили его идеи к традициям Французской революции, Азеллини рассматривает Боливарианскую революцию в Венесуэле иначе. Автор усматривает её истоки в революционном течении, начавшем формироваться в партизанских движениях 1960-х гг. в Венесуэле и Латинской Америке, стремившемся определить «государство» через способность людей к самоорганизации. В своей главе Азеллини рассматривает боливарианскую концепцию народа (*pueblo*), сообщества, «не predeterminedного социальным статусом, этнической принадлежностью, языком, национальностью или какой-либо другой категорией». Связывая народ с идентичностью, сформированной в ходе политической борьбы, автор подробно рассматривает опыт советов как форм укрепления власти наряду с государством и независимо от него и делает вывод о том, что данная форма самоуправления является наиболее важным наследием революционного опыта Венесуэлы.

Следующий раздел посвящён выходу Великобритании из Европейского союза. Брекзит показал, что Соединённое Королевство не так едино, как казалось: государство сформировалось в результате взаимодействия нескольких наций и, соответственно, национализмов: английской(кого), ирландской(кого), шотландской(кого) и валлийской(кого). Само голосование за выход из Европейского союза продемонстрировало значительные пространственные диспропорции: в Англии и Уэльсе большинство проголосовало за выход из ЕС, в то время как Шотландия и Северная Ирландия дали большинство голосов за то, чтобы остаться в объединении. Результаты голосования не только отражали существующие различия, но и усиливали их.

Д. Кларк (John Clarke) фокусируется на различных, но взаимосвязанных аспектах Брекзита. За этим процессом он видит популистское желание, подпитываемое «чувством потери», связанное, в основном, с постимперским характером английского национализма, неолиберальной глобализацией и вызванными миграцией изменениями в культуре и образе жизни.

По утверждению автора, постимперский характер реакционного английского национализма обусловлен двумя факторами: «потерей империи» (состояния, при котором Великобритания была «великой»); «потерей английской гегемонии над Соединённым Королевством» (то есть по сути слияния английского и британского). Кларк усматривает связь Брексита с реакцией на конец эпохи колониализма и попыткой восстановить разрушающуюся английскую гегемонию и приходит к выводу, что Brexit вновь актуализировал национальный вопрос.

Заключительная глава раздела отсылает к книге Гезде Язычи Керют (Gözde Yazıcı Söğüt), в которой анализируются политические последствия отличных интерпретаций понятия «народ» в разных политических группировках, существовавших в период социальной напряжённости и кризиса идентичности в имперской России XIX в. Называя дворянство главным социальным актором, формирующим интеллектуальные круги XIX в., автор подробнее останавливается на славянофилах и западниках. Также принимается во внимание и подъём популизма, связываемого с авторской интерпретацией «русского социализма» А. Герценом.

Автор показывает, что славянофилы прославляли крестьянство, в частности крестьянские общины, как гармоническую сущность народа и носителя русской души. Они защищали программу сохранения автономии коммун и утверждали, что заложенная в них «русская душа» противостоит абстрактному западному рационализму, навязанному капитализмом и имперской бюрократией. Однако, как представители потомственного дворянства, славянофилы оставались твёрдо приверженными поддержанию социального порядка, обеспечивающего им их политический и экономический статус, и не хотели участия крестьян в политическом процессе, который, по их мнению, мог бы рационализировать/вестернизировать истинно русский образ жизни крестьян. Позиция западников была диаметрально противоположна позиции славянофилов. В то время как славянофилы искали пути ограничения дальнейшей вестернизации русской деревни, западники подчёркивали необходимость углубления и ускорения реформ, поскольку именно они считались ключом к освобождению России.

Язычи Керют утверждает, что Александр Герцен заново изобрёл понятие «народ» в попытке синтезировать акцент славянофилов на потенциале крестьянских общин с либеральным/либертарианским акцентом западников на просвещении. Именно переосмысление А. Герценом понятия «народ» заложило основу для возникновения и развития русского народничества/социализма.

«Антиколониальная нация» – это третий и последний раздел книги. Он состоит из материалов об антиимпериалистической, антиколониальной мысли в арабском мире, Буркина-Фасо и Перу.

Макс Аджл (Max Ajl) рассматривает арабский национализм и концепцию «самостоятельного развития», переосмысливая идею синергии между государством, суверенитетом, национализмом и развитием на периферии мировой системы. Оспаривая идею о том, что «история превзошла национальный вопрос»,

М. Аджл выдвигает аргумент, что национальное освобождение – это «не столько провал, сколько прерванный процесс». Аджл раскрывает историю радикальной арабской мысли о государстве, национализме и интернационализме, а также о путях национального освобождения. Автор утверждает, что отрицание государственного суверенитета лежит в основе политической истории отсталости. В то же время самоопределение как основа государственного суверенитета и ценное достижение антиколониальной и национально-освободительной борьбы было сдвинуто на периферию социальной теории.

В социальной теории современный мир представляет собой сеть. В мире, состоящем из множества узлов, государство «разлагается», а отношения центр–периферия, внутри которых, как считалось, происходит накопление капитала, устарели. Такая аргументация делает вопрос о государстве и нации менее актуальным или даже неуместным. М. Аджл критикует данные взгляды как методологически антиматериалистические и неисторические, раскрывая при этом важный опыт арабского национализма и его взгляд на государство как «место борьбы» за траектории анти- и постколониального развития.

Следующая глава данного раздела отсылает читателя к революции и государственному строительству в эпоху правительства Тома Санкары в Буркина-Фасо – стране, которая пережила сложный период переосмысления модели государственного строительства в середине 1980-х гг. Эрнест Харш (Ernest Harsch) утверждает, что, хотя руководящий Национальный совет революции при президенте Санкаре просуществовал всего несколько лет, его правление ознаменовало начало длительного процесса, в ходе которого национальная идентичность страны была радикально преобразована.

Ранее, во времена французского колониального правления и в первые десятилетия независимости, Верхняя Вольта (прежнее название Буркина-Фасо) не демонстрировала значимых признаков национальной сплочённости и движения за государственный суверенитет. Появление Национального совета революции, который стремился преобразовать крайне неразвитые экономические и социальные структуры страны, способствовало формированию новой идентичности: примером стало изменение самого названия страны с Верхней Вольты на Буркина-Фасо. Данное изменение в сочетании с активной поддержкой десятков местных культур было сознательно направлено на повышение инклюзивности. Революционный проект национального строительства Национального совета революции опирался на различные этнические идентичности, то есть был панэтническим, ставившим своей целью превратить бывшую колонию, разделённую по этническим и региональным признакам, в стабильно развивающуюся страну.

То общество, которое президент Тома Санкара намеревался построить, было основано не на ассимиляции различных групп в рамках новой «национальной идентичности», а на артикуляции разнообразных идентичностей. Его видение нации, которое продолжает вдохновлять многих и по сей день, связывалось с движением «от единого к единству в многообразии».

Заключительный вклад в рецензируемую книгу внёс Хуан Э. Де Кастро (Juan E. De Castro), который возвращает читателя в Перу, в начало XX в., для того чтобы раскрыть идеологические и политические принципы антиимпериалистических и социалистических идей Хосе Карлоса Мариатеги.

Автор сравнивает и противопоставляет позицию Мариатеги популистскому антиимпериализму Виктора Рауля Айя де ла Торре, основателя Американского народно-революционного альянса (АНРА). Несмотря на то, что они оба выступали против американского империализма, были сторонниками национализации земли и промышленности и защищали единство угнетённых наций, Мариатеги возражал против латиноамериканской политической традиции каудильизма, когда люди низводятся до пассивной массы, нуждающейся в героических действиях религиозного лидера или «светского мессии» для достижения своей эмансипации. Мариатеги был марксистом и предпочитал коллективные действия индивидуальному героизму. Ещё одно важное различие взглядов между Айя и Мариатеги, касалось их взглядов на связь между местным/национальным и глобальным. Поиск Мариатеги путей вовлечения масс в революционную борьбу привёл его к выводу о необходимости учёта особенностей национальной реальности Перу: это было очевидно в его попытке использовать коренное большинство, его образ жизни и культурные институты, в качестве основных революционных ресурсов.

По своей форме книга «Beyond Nationalism and the Nation-State: Radical Approaches to Nation» является сборником различных статей, анализирующих такое обширное и многогранное понятие, как «нация». Авторами книги проделана колоссальная работа, которая раскрывает каждому читателю суть понятия «нация», глубинные связи нации с этнической принадлежностью, культурой и государственностью. Собранный материал позволяет в рамках одной книги погрузиться в разные временные этапы, прочувствовать и осознать явления, способствовавшие подъёму, эволюции или реорганизации национальных идей и движений на примере Рабочей партии Кудристана, Революционных вооружённых сил Колумбии, или же самого обсуждаемого события мировой политики последнего времени – Брексита.

Тематический разброс книги является в то же самое время и её недостатком. Для того чтобы полноценно осознать весь объём материала, который авторы постарались обобщить, необходимо быть не только специалистом в области национализма и национальных движений, но и достаточно хорошо понимать специфику регионов и стран, в которых эти движения зарождались и функционировали. Более того, из-за географического разброса и неоднородности проблематики статей, неподготовленному читателю будет достаточно сложно сделать общий вывод, сложно найти ту красную нить, которая связывает воедино все главы книги. В связи с чем рецензируемая монография будет полезна в первую очередь тем, кто сконцентрирован на изучении конкретного движения и уже знаком с его спецификой; или же тем, кто уже профессионально владеет достаточной теоретической базой в области национализма и хочет углубить и расширить свои знания.

Об авторе:

Артём Игоревич Самородов – магистрант Факультета политических наук, коммуникаций и международных отношений, Университет Мачераты. Via Don Giovanni Minzoni, 2, 62100 Macerata, Italy.
E-mail: artyom.samorodov@gmail.com

Конфликт интересов:

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

UDC: 327.2
Received: May 11, 2021
Accepted: July 07, 2021

In Search of Progressive Nationalism

A.I. Samorodov
[DOI 10.24833/2071-8160-2021-4-79-164-173](https://doi.org/10.24833/2071-8160-2021-4-79-164-173)

University of Macerata, Italy

Book review: Cörüt I., Jongerden J. (ed.). 2021. *Beyond Nationalism and the Nation-State: Radical Approaches to Nation*. Routledge. 226 p. ISBN 9780367684020

Keywords: nation, radical approaches, progressivism, multiculturalism, nation-building, social struggle.

About the author:

Artem I. Samorodov – Masters' student, Department of Political Sciences, Communication, and International Relations, University of Macerata. Via Don Giovanni Minzoni, 2, 62100 Macerata, Italy. E-mail: artyom.samorodov@gmail.com

Conflict of interests:

The author declares absence of conflict of interests.

References:

- Anderson B. 1991. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Appadurai A. 1996. *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press. 229 p.
- Brubaker R. 1992. *Citizenship and Nationhood in Germany and France*. Cambridge, MA: Harvard University. 270 p.
- Kohn H. 1945. *The Idea of Nationalism: A Study of Its Origins and Background*. London: Macmillan. 735 p.
- Mooney G., Scott G. 2016. Welfare, Equality and Social Justice: Scottish Independence and the Dominant Imaginings of the 'New' Scotland'. *Ethics and Social Welfare*. 10(3). P. 239-251.

Anderson B. et al. 2002. *Nacii i nacionalizm* [Nations and Nationalism]. Moscow: Praxis. 364 p. (In Russian)

Список литературы на русском языке:

Андерсон Б. и др. 2002. *Нации и национализм*. Москва: Практис. 364 с.